

ШЕДЕВРЫ ЮМОРА



100



ЛУЧШИХ
юмористических
историй



Коллектив авторов

**Шедевры юмора. 100 лучших
юмористических историй**

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

авторов К.

Шедевры юмора. 100 лучших юмористических историй /
К. авторов — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого»,

«Шедевры юмора. 100 лучших юмористических историй» — это очень веселая книга, содержащая цвет зарубежной и отечественной юмористической прозы 19–21 века. Тут есть замечательные произведения, созданные такими «королями смеха» как Аркадий Аверченко, Саша Черный, Влас Дорошевич, Антон Чехов, Илья Ильф, Джером Клапка Джером, О.Генри и др. Не менее веселыми и задорными, нежели у классиков, являются включенные в книгу рассказы современных авторов — Михаила Блехмана и Семена Каминского. Также в сборник вошли смешные истории от «серьезных» писателей, к примеру Федора Достоевского и Леонида Андреева, чьи юмористические произведения остались практически неизвестны современному читателю. Тематика книги очень разнообразна: она включает массу комических случаев, приключившихся с деятелями культуры и журналистами, детишками и барышнями, бандитами, военными и бизнесменами, а также с простыми скромными обывателями. Читатель вволю посмеется над потешными инструкциями и советами, обучающими его искусству рекламы, пения и воспитанию подрастающего поколения.

© авторов К.

© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

Аверченко Аркадий	5
Алло!	5
Апостол	9
Автобиография	13
Борьба с роскошью	18
Булавка против носорога	21
Дети	25
Крыса на подносе	30
Кто ее продал...	34
Три желудя	37
Участок	41
Юмор для дураков	45
Желтая пресса	48
Золотой век	51
Андреев Леонид	54
Фальшивый рубль и добрый дядя	54
Искренний смех	55
Негодяй	57
Орешек	58
Ослы	59
Часть 1	59
Часть 2	60
Часть 3	62
Эпилог	64
Правила добра	66
Блехман Михаил	81
Салун	81
Воровский Вацлав	84
Пропавшая скрипка	84
Гаршин Всеволод	85
То, чего не было	85
Зозуля Ефим	88
Что людям не надоедает	88
Как люди скучают	89
Джером Клапка Джером	91
Брак и его иго	91
Дикари первобытные и дикари современные	96
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Шедевры юмора. 100 лучших юмористических историй

Аверченко Аркадий

Алло!

...личный разговор лицом к лицу – это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону – телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.

Цитата из этого рассказа

Мышьяк при некоторых болезнях очень полезное средство; но если человека заставить проглотить столовую ложку мышьяку – оба бесцельно погибнут. И человек и мышьяк.

Трость очень полезная вещь, когда на нее опираются; но в ту минуту, когда тростью начинают молотить человека по спине, трость сразу теряет свои полезные свойства.

Что может быть прекраснее и умилительнее ребенка; природа, кажется, пустила в ход все свое напряжение, чтобы создать чудесного, цветущего голубоглазого ребенка. Кто из нас не любовался ребенком, не восхищался ребенком; но если кто-нибудь начнет швыряться из окна четвертого этажа ребятами в прохожих – прохожие отнесутся к этому с чувством омерзения и гадливости.

Я не могу себе представить ничего более полезного, чем иголка. А попробуйте ее проглотить? Этим я хочу только сказать, что хотя шилом не бреются и ручкой зонтика не извлекают попавшие в глаз соринки, но разговаривать по телефону безо всякой нужды больше получаса – на это находятся охотники.

И они не видят в этом ничего дурного.

* * *

Иногда ко мне по телефону звонит барышня.

Я умышленно не называю ее имени, потому что у всякого человека есть своя барышня, которая ему звонит.

Характер такой барышни трудно описать. Она не обуреваема сильными страстями, не заражена большими пороками; она не глупа, кое-что читала. Если несколько сот таких барышень, подмешав к ним кавалеров, пустить в театр, они образуют собою довольно сносную театральную толпу.

На улице они же образуют уличную толпу; в случае какой-нибудь эпидемии участвуют в смертности законным процентом, ропща на судьбу в каждом отдельном случае, но составляя в то же время в общем итоге «общественное мнение по поводу постигшего нашу дорогую родину бедствия».

Никто из них никогда не напишет «Евгения Онегина», не построит Исаакиевского собора, но удалять их за это из жизни нельзя – жизнь тогда бы совсем оскудела. В книге истории они вместе со своими кавалерами занимают очень видное место; они – та белая бумага, на которой так хорошо выделяются черные буквы исторических строк.

Если бы не они со своими кавалерами – театры бы пустовали, издатели модных книг разорялись бы, а телефонистки на центральной станции ожирели бы от бездействия и тишины.

Барышни не дают спать телефонисткам. В количестве нескольких десятков тысяч они ежечасно настоятельно требуют соединить их с номером таким-то.

К сожалению, никто не может втолковать барышням, что личный разговор лицом к лицу – это письмо, которое можно растягивать на десятки страниц; а разговор по телефону – телеграмма, которую посылают в случае крайней необходимости, экономя каждое слово.

Пусть кто-нибудь из читателей попробует втолковать это барышне, – она в тот же день позвонит ко мне по телефону и спросит: правда ли, что я написал это? Как я, вообще, поживаю? И правда ли, что на прошлой неделе меня видели с одной блондинкой?

* * *

– Вас просят к телефону!

– Кто просит?

– Они не говорят.

– Я, кажется, тысячу раз говорил, чтобы обязательно узнавали, кто звонит?

– Я и спрашивал. Они не говорят. Смеются. Ты, говорят, ничего не понимаешь.

– Ах ты, Господи! Алло! Кто у телефона?!

Говорит барышня. Отвечает:

– О, боже, какой сердитый голос. Мы сегодня не в духе?

– Да нет, ничего. Это просто телефон хрипит, – говорю я с наружной вежливостью. – Что скажете хорошенького?

– Что? Кто хорошенькая? С каких это пор вы стали говорить комплименты?

– Это не комплимент.

– Да, да – знаем мы. Всякий мужчина, преподнося комплимент, говорит, что это не комплимент.

Чрезвычайно, чрезвычайно жаль, что она не видит моего лица.

Я молчу, а она спрашивает:

– Что вы говорите?

Что ей сказать? Бросаю единственную кость со своего скудного неприхотливого стола:

– Вы из дому говорите?

– Какой вы смешной! А то откуда же?

Что бы такое ей еще сказать?

– А я думал, от Киндякиных.

– От Киндякиных? Гм! Вы только, кажется, и думаете, что о Киндякиных. Вам, вероятно, нравится m-me Киндякина? Я что-то о вас слышала!.. Ага...

Это она называет «интриговать».

Потом будет говорить какому-нибудь из своих кавалеров:

– Я его вчера ужасно заинтриговала.

Понурившись, я стою с телефонной трубкой у уха, гляжу на ворону, примостившуюся у края водосточной трубы, и впервые жалею, оскорбляя тем память своего покойного отца: «Зачем я не создан вороной?»

Над ухом голос:

– Что вы там – заснули?

– Нет, не заснул.

Какой ужас, когда что-нибудь нужно сказать, а сказать нечего. И чем больше убеждаешься в этом, тем более тупеешь...

– Алло! Ну, что ж вы молчите? С вами ужасно трудно разговаривать по телефону. Расскажите, что вы подделываете?

Помедлив немного, я раздражаюсь таким каламбуром, услышав который всякий другой человек повесил бы трубку и убежал без оглядки:

– Что я подделываю? Преимущественно кредитные бумажки.

– Алло? Я вас не слышу!

– Кредитные бумажки!!!

– Что – кредитные бумажки?

– Я. Подделываю.

– К чему вы это говорите?

– А вы спрашиваете, что я подделываю? Я не разобрал – два «д» у вас или одно. Вот и ответил.

Этот каламбур приводит ее в восхищение.

– Ах, вечно живой, вечно остроумный! И откуда у вас только это берется? Seriously, что у вас новенького?

Зубами прикусываю нижнюю губу; лишний раз убеждаюсь, что кровь у меня солоноватая, с металлическим вкусом.

– Как вампиры могут пить такую гадость?

– Что-о?

– Я говорю, что не понимаю: какой вкус находят вампиры в человеческой крови.

Она несколько не удивляется обороту разговора:

– А вы верите в вампиров?

Надо бы, конечно, сказать, что не верю, но так как мне все это совершенно безразлично, я вяло отвечаю:

– Верю.

– Ну как вам не стыдно! Вы культурный человек, а верите в вампиров. Ну, скажите: какие основания для этого вы имеете? Алло!

– Что?

– Я спрашиваю: какие у вас основания?

– На кого? – бессмысленно спрашиваю я, читая плакат сбоку телефона: «Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других».

– «На кого» не говорят. Говорят: для чего.

– Что «для чего»?

– Основания.

– Жизнь не ждет, – возражаю я, как мне кажется, довольно основательно.

– Нет, вы мне скажите, почему вы верите в вампиров? Что за косность?

– Интуиция.

Вероятно, она не знает этого слова, потому что говорит «а-а-а» и, как вспугнутая птица, перепархивает на другой сук:

– Что у вас, вообще, слышно?

– Сто рублей тому, кто докажет, что у Нарановича готовое платье не дешевле, чем у других.

– У какого Нарановича?

– Портной. Вероятно, дамский.

– Не говорите пошлостей. Вы забываете, что разговариваете с барышней. Вообще, вы за последнее время ужасно испортились.

И вот мы стоим на расстоянии двух или трех верст друг от друга, приложив к уху по куску черного, выдолбленного внутри каучука. От меня к ней тянется тонкая-претонкая проволока – единственное связующее нас звено.

Почему проволока так редко рвется? Хорошо, если бы какая-нибудь большая птица уселась на самое слабое место проволоки и... А ведь в самом деле – может же это случиться? Если положить потихоньку трубку на подоконник и уйти? А потом свалить все на «этот проклятый телефон». («Вечная история с этими проводами! Поговорить даже не дадут как следует!»)

Но нужно прервать беседу на моих словах. Пусть барышня думает, что я вне себя от досады, не успев рассказать начатое.

Я кричу:

– Алло! Вы слушаете? Я вам сейчас что-то расскажу – только между нами. Ладно? Даете слово?

– О, конечно, даю! Я умираю от любопытства!!

– Ну, смотрите. Вчера только что подхожу я к квартире Бакалеевых, вдруг выходит оттуда Шмагин – бледный, как смерть! Я...

Я кладу трубку на подоконник (если повесить ее, барышня может через минуту опять позвонит), – кладу трубку, облегченно вздыхаю и удаляюсь на цыпочках (громкие шаги слышны в трубку).

Воображаю, как она там беснуется у своего конца проволоки:

– Алло! Я вас слушаю. Почему вы молчите?! Ах ты, Господи! Барышня! Это центральная? Почему вы нас разъединили?! Дайте номер 54–27.

А телефонистка, наверное, отвечает деревянным тоном:

– Или трубка снята, или повреждение на линии.

Милая телефонистка.

* * *

Однажды барышня позвонила ко мне рано утром; было холодно, но я согрелся под одеялом и думал, что никакие силы не сбросят меня с кровати.

Однако, когда зазвенел телефонный звонок, я, пролежав минуты три под оглушительный звон, наконец, дрожа от холода, вскочил и побежал к телефону, перепрыгивая с одной ноги на другую – пол холоден, как лед.

– Алло! Кто?

– Здравствуйте. Вы уже не спите? Однако рано вы поднимаетесь; я тоже уже проснулась. Ну, что у вас слышно?

Перепрыгивая с ноги на ногу, я давал вялые реплики и после десятиминутного разговора услышал успокаивающие душу слова:

– А я очень хорошо устроилась: лежу на оттоманке, около горящего камина – тепленько-претепленько. Педикюрша делает мне педикюр, а я пью кофе, рассматриваю журналы и говорю по телефону; телефон-то у меня тут же на столе. Я кстати и позвонила вам... Алло! Почему не отвечаете? Центральная!!! Что это такое? Опять порча? Господи!

* * *

Вот я написал рассказ.

Десятки тысяч барышень, наверное, прочтут его. И если хотя бы десять барышень придумаются над написанным и поймут, что я хотел сказать, – на свете станет жить немного легче.

* * *

Прошу другие газеты перепечатать.

Апостол

I

Всякий вдумчивый, наблюдательный человек уже заметил, вероятно, что богатство дядюшек прямо пропорционально расстоянию, которое отделяет их от племянников.

Всякий вдумчивый наблюдательный человек замечал, что самые богатые, набитые золотом дядюшки всегда поселяются в Америке... Человеку, желающему быть миллионером – достичь этого, со времени великого открытия Колумба, очень легко: нужно обзавестись в Европе племянниками, сесть на пароход и переехать из Европы в эту удивительную страну. Совершив это – вы совершили почти все... Остаются пустяковые детали: сделаться оптовым торговцем битой свининой, или железнодорожным королем, или главой треста нефтепромышленников.

Если дядюшка живет где либо в Англии – племяннику его уже никогда не придется увидеть миллионов...

В лучшем случае, ему попадут несколько сот тысяч.

И чем ближе к племяннику – тем дядюшка все беднеет... Сибирь приносит племяннику всего несколько десятков тысяч, какая-нибудь Самара – тощий засаленный пучок кредиток и, наконец, есть такой предел, такая граница – где дядюшка не имеет ничего. Перевалив эту границу, дядюшка начинает быть уже отрицательной величиной. Если он живет в двадцати верстах от племянника, то таскается к нему каждую неделю, поедает сразу два обеда, выпрашивает у племянника рубль на дорогу и, втайне, мечтает о гнусном, чудовищном по своей противоестественности случае: получить после смерти племянника – его наследство.

Хотя у меня и есть дядюшка, но я им, в общем, доволен: он живет в Сибири.

II

Однажды, когда я сидел за обедом, в передней послышался звонок, чьи-то голоса, и ко мне неожиданно ввалился дядюшка, красный от радости и задыхающийся от любви ко мне.

– А я к тебе, брат племянник. Погостить. Посмотреть, как они тут живут, эти самые наследники...

Он обнял меня, посмотрел внимательно через мое плечо на покрытый стол и – отшатнулся.

– Что вы, дядя?

Он прохрипел, нахмутив брови:

– Убийца!

– Кто убийца? – озабоченно спросил я. – Где убийца?

– Ты убийца! Что это такое? Это вот...

– Кусок ростбифа. Не желаете ли скушать?..

– Чтобы я ел тело убитого в муках животного?. Чтобы я был соучастником и покровителем убийства?! Пусть лучше меня самого съедят!

– Вы что же, дядя... вегетарианец?

Он уселся на стул, кивнул головой и внушительно добавил:

– Надеюсь, и ты им будешь... Надеюсь.

Если бы этот человек приехал из Самары или какого-нибудь Борисоглебска – я бы не церемонился с ним. Но он был из Сибири.

– Конечно, дядя... Если вы находите это для меня необходимым – я с сегодняшнего дня перестаю быть, как вы справедливо выразились, убийцей! Действительно, это, в сущности, возмутительно: питаться через насилие, через боль... Впрочем, этот ростбиф я могу доест, а?

– Нет! – энергично вскочил дядюшка, хватаясь за ростбиф. – Ты не должен больше ни куска есть. Нужно мужественно и сразу отказаться от этого ужаса!

– Дядя! Ведь животное это все равно убито, и его уже не воскресить. Если бы оно могло зашевелиться, ожить и поползти на зеленую травку – я бы, конечно, его не тронул... Но у него даже нет ног... Не думаю, чтобы этот бедняга мог что либо чувствовать...

– Дело не в нем! Конечно, он (на глазах дяди показались две маленькие слезинки) ничего не чувствует... Его уже убили злые бессердечные люди. Но ты – ты должен спать отныне с чистой совестью, с убеждением, что ты не участвовал в уничтожении божьего творения.

До сих пор было наоборот: я обретал спокойный сон только по уничтожении одного или двух кусков божьего творения. И, наоборот, пустой желудок мстил мне жестокой длительной бессонницей.

Но, так как от Сибири до меня расстояние было довольно внушительное – я закрыл руками лицо и, с мучительной болью в голосе, прошептал:

– И подумаешь, что я до сих пор был кровожадным истребителем, пособником убийц... Нет! Нет!! Отныне начинаю жить по новому!

Дядя нежно поцеловал меня в голову, потрепал по плечу и сказал:

– Вот ты увидишь, какой прекрасный обед я закажу сейчас твоей кухарке. Через час все будет готово: мы пообедаем очаровательно!

III

На столе стояли вареные яйца, масло, маринованные грибы и хлеб.

– Мы, брат, чудесно пообедаем, – добродушно говорил дядя. – За первый сорт. Я голоден, как волк.

Он взял яйцо и вооружился ложкой.

– Дядюшка! – изумленно вскричал я – Неужели, вы будете есть это?!

– Да, мой друг. Ведь здесь я никого не убиваю...

– Ну, нет! По моему, это такое же убийство... Из этого яйца мог бы выйти чудесный цыпленок, а вы его уничтожаете!

Его глаза увлажнились слезами. Он внимательно взглянул на меня: мои глаза тоже были мокры.

Он вскочил и бросился в мои объятия.

– Прости меня. Ты прав... Ты гораздо лучше, чем я!

Мы прижали друг друга к сердцу и, растроганные, снова сели на свои места.

Дядя повертел в руках яйцо и задумчиво произнес:

– Хотя оно уже вареное... Цыпленок из него едва ли получится.

– Дядюшка! – укоризненно отвечал я. – Дело ведь не в нем, а в вас. В вашей чистой совести!

– Ты опять прав! Тысячу раз прав. Прости меня, старика!..

Кухарка внесла суп из цветной капусты.

– Дай, я тебе налью, – любовно глядя на меня, сказал дядюшка.

Я печально покачал головой.

– Не надо мне этого супа.

– Что такое? – встревожился дядя. – Почему?

– Позвольте мне, дядя, рассказать вам маленькую историйку... На одном привольном, залитом светом горячего солнца огороде – росла цветная капуста. Радостно тянулась она к

ласковым лучам своей яркой зеленью... Любо ей было купаться в летнем тепле и неге!.. И думала она, что конца не будет ее светлой и привольной жизни... Но пришли злые огородники, вырвали ее из земли, сделали ей больно и потащили в большой равнодушный город. И попала несчастная в кипяток, и только тогда, в невыносимых муках, поняла, как злы и бессердечны люди... Нет, дядя!.. Не буду я есть этой капусты.

Дядя с беспокойством взглянул на меня.

– Ты думаешь... Она что-нибудь чувствует?

– Чувствовала! – прошептал я, со слезами на глазах. – Теперь уже не чувствует... Ученными ведь доказано, что всякое растение – живое существо, и если оно не умеет говорить, то это не значит, что ему не больно!.. О, как я раньше был жесток! Сколько огурцов убил я на своем веку...

Дядя тихо положил ложку и отодвинул суповую чашку.

– Мне стыдно перед тобой... Теперь только я вижу, как я был жалок со своим вегетарианством, которое было тем же замаскированным убийством... Ты прямолинейнее и, значит, – лучше меня.

Мы сидели, молча, растроганные, опустив головы в пустые тарелки.

– Но... – прошептал, наконец, дядя, задумчиво глядя на меня. – Чем же мы должны питаться?

– Молоком, – сказал я. – Это никому не делает больно. Хлеб делается из колосьев и, поэтому, жестоко было бы уничтожать его. Вместо хлеба, можно подбирать сухие опавшие листья, молоть их и изготавливать суррогат муки...

Дядя вздохнул.

– А я заказал кухарке на второе спаржу...

– Дядюшка! Позвольте мне рассказать вам историю: на одном огороде росла спаржа...

Радостно тянулась она к яркому...

– Знаю, – кивнул головой дядя. – Потом пришли злые огородники и сделали ей больно...

Он почесал затылок и сказал:

– Ну, что ж делать... Попьем молочка! Может, до сбора сухих листьев, можно с кусочком хлеба... Он ведь мёртвенький...

– Дядя! – сурово и непреклонно сказал я. – Будьте же мужественны! Ведь дело не в мёртвеньком, как вы говорите, хлебе, а в вас! Дело в чистой совести!

IV

Он пил маленькими глотками молоко и, пораженный, смотрел на меня. А я говорил:

– Я вам беспредельно благодарен! Вы мне открыли новый мир!.. Теперь я буду всю жизнь ходить босиком.

– Босиком? Зачем, мой друг, босиком?

– Дядя! – укоризненно сказал я. – Вы, кажется, забываете, что башмаки делаются из кожи убитых животных... Не хочу я больше быть пособником и потребителем убийства!

– Ты мог бы, – сосредоточенно раздумывая, прошептал дядя, – делать башмаки из дерева... Как французские крестьяне.

– Дядюшка... Позвольте вам рассказать одну печальную историю. В тихом дремучем лесу росло деревцо. Оно жадно тяну...

– Да, да, – кивнул головой дядя. – Потом его срубили злые лесники. Милый мой! Но что же тогда делать?! Вот, у тебя сейчас деревянные полы...

Я тихо, задумчиво улыбнулся.

– Да, дядюшка! В будущий ваш приезд этого не будет... Я закажу стеклянные полы...

– По... чему стеклянные?

– Стекло не больно. Оно – не растительный предмет... Стулья у меня будут железные, а постели из мелкой металлической сетки...

– А... матрац и... подушки?... – робко смотря на меня, спросил дядя.

– Они хлопчатобумажные! Хлопок растет. Позвольте рассказать вам одну...

– Знаю, – печально махнул рукой дядя. – Хлопок рос, а пришли злые люди...

Он встал со стула. Вид у него был расстроенный и глаза горели голодным блеском, так как он пил только молоко.

– Может быть, вы желали бы пройтись после обеда по саду? – спросил я. – Мне нужно кое-чем заняться, а вы погуляйте.

Он встал, робкий, голодный, и заторопился:

– Хорошо... не буду тебе мешать... Пойду, погуляю...

– Только, – серьезно сказал я, – одна просьба: не ходите по траве... Она вам ничего не скажет, но ей больно... Она будет умирать под вашими ногами.

Я обнял его, прижал к груди и шепнул:

– Когда будете идти по дорожке – смотрите под ноги... У меня болит сердце, когда я подумаю, что вы можете раздавить какого-нибудь несчастного кузнечика, который...

– Хорошо, мой друг. У тебя ангельское сердце...

Дядя посмотрел на меня робко и подавленно, с чувством тайного почтения и страха. Втайне, он очевидно, и сам был не рад, что разбудил во мне такую чуткую, нежную душу.

Когда он ушел, я вынул из буфета хлеб, вино, кусок ростбифа и холодные котлеты.

Потом расположился у окна и, уничтожая эти припасы, любовался на прогуливавшегося дядюшку.

Он шагал по узким дорожкам, сторбленный от голода, нагибаясь время от времени и внимательно осматривая землю под ногами... Один раз он машинально сорвал с дерева листик и поднес его к рту, но сейчас же вздрогнул, обернулся к моему окну и бросил этот листик на землю.

Прожил он у меня две недели – до самой своей смерти.

Мы ходили босиком, пили молоко и спали на голых железных кроватях..

Смерть его не особенно меня удивила.

Удивился я только, узнав, что хотя он и жил в Сибири, но имел все свойства самарского дядюшки: после его смерти я получил тощий засаленный пучок кредиток – так, тысячи три.

Автобиография

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

– Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица!» – подумал я, внутренне усмехнувшись, – «ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник?

Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к восьми годам увидел однажды отца берущим меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись не более как реальными симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он, кроме того, нахлобучил на головы себе и мне по шляпе – и мы вышли на улицу.

– Куда это нас черти несут? – спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей.

– Тебе надо учиться.

– Очень нужно! Не хочу учиться.

– Почему?

Чтобы отвязаться, я сказал первое, что пришло в голову:

– Я болен.

– Что у тебя болит?

Я перебрал на память все свои органы и выбрал самый нежный:

– Глаза.

– Гм... Пойдем к доктору.

Когда мы явились к доктору, я наткнулся на него, на его пациента и свалил маленький столик.

– Ты, мальчик, ничего решительно не видишь? Ничего, – ответил я, утаив хвост фразы, который закончил в уме: «...хорошего в ученьи».

Так я и не занимался науками.

Легенда о том, что я мальчик больной, хилый, который не может учиться, росла и укреплялась, и больше всего заботился об этом я сам.

Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами, каким бы образом поскорее разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены ворами и покупателями.

Воры, пожары и покупатели долгое время стояли стеной между мной и отцом, и я так и остался бы неграмотным, если бы старшим сестрам не пришла в голову забавная, сулившая им массу новых ощущений мысль заняться моим образованием. Очевидно, я представлял из себя лакомый кусочек, так как из-за весьма сомнительного удовольствия осветить мой ленивый мозг

светом знания сестры не только спорили, но однажды даже вступили врукопашную, и результат схватки – вывихнутый палец – нисколько не охладил преподавательского пыла старшей сестры Любы.

Так – на фоне родственной заботливости, любви, пожаров, воров и покупателей – совершался мой рост и развивалось сознательное отношение к окружающему.

Когда мне исполнилось 15 лет, отец, с сожалением распроставшийся с ворами, покупателями и пожарами, однажды сказал мне:

– Надо тебе служить.

– Да я не умею, – возразил я, по своему обыкновению выбирая такую позицию, которая могла гарантировать мне полный и безмятежный покой.

– Вздор! – возразил отец. – Сережа Зельцер не старше тебя, а он уже служит!

Этот Сережа был самым большим кошмаром моей юности. Чистенький, аккуратный немецик, наш сосед по дому, Сережа с самого раннего возраста ставился мне в пример, как образец выдержанности, трудолюбия и аккуратности.

– Посмотри на Сережу, – говорила печально мать, – Мальчик служит, заслуживает любовь начальства, умеет поговорить, в обществе держится свободно, на гитаре играет, поет. А ты?

Обескураженный этими упреками, я немедленно подходил к гитаре, висевшей на стене, дергал струну, начинал визжать пронзительным голосом какую-то неведомую песню, старался «держаться свободнее», шаркая ногами по стенам, во все это было слабо, все было второго сорта. Сережа оставался недосыгаем!

– Сережа служит, а ты еще не служишь... – упрекнул меня отец.

– Сережа, может быть, дома лягушек ест, – возразил я, подумав. – Так и мне прикажете?

– Прикажу, если понадобится! – гаркнул отец, стуча кулаком по столу. Черрт возьми! Я сделаю из тебя шелкового!

Как человек со вкусом, отец из всех материй предпочитал шелк, и другой материал для меня казался ему неподходящим.

Помню первый день моей службы, которую я должен был начать в какой-то сонной транспортной конторе по перевозке кладей.

Я забрался туда чуть ли не в восемь часов утра и застал только одного человека в жилете без пиджака, очень приветливого и скромного.

«Это, наверное, и есть главный агент», – подумал я.

– Здравствуйте! – сказал я, крепко пожимая ему руку – Как делишки?

– Ничего себе. Садитесь, поболтаем!

Мы дружески закурили папиросы, и я завел дипломатичный разговор о своей будущей карьере, рассказав о себе всю подноготную.

Неожиданно сзади нас раздался резкий голос:

– Ты что же, болван, до сих пор даже пыли не стер?!

Тот, в ком я подозревал главного агента, с криком испуга вскочил и схватился за пыльную тряпку. Начальнический голос вновь пришедшего молодого человека убедил меня, что я имею дело с самим главным агентом.

– Здравствуйте, – сказал я – Как живете-можете? (Общительность и светскость по Сереже Зельцеру.)

– Ничего, – сказал молодой господин. – Вы наш новый служащий? Ого! Очень рад!

Мы дружески разговорились и даже не заметили, как в контору вошел человек средних лет, схвативший молодого господина за плечо и резко крикнувший во все горло:

– Так-то вы, дьявольский дармоед, заготавливаете реестра? Выгоню я вас, если будете лодырничать!

Господин, принятый мною за главного агента, побледнел, опустил печально голову и побрел за свой стол. А главный агент опустился в кресло, откинулся на спинку и стал преважно расспрашивать меня о моих талантах и способностях.

«Дурак я, – думал я про себя – Как я мог не разобрать раньше, что за птицы мои предыдущие собеседники. Вот этот начальник – так начальник! Сразу уж видно!»

В это время в передней послышалась возня.

– Посмотрите, кто там? – попросил меня главный агент.

Я выглянул в переднюю и успокоительно сообщил:

– Какой-то плюгавый старичишка стягивает пальто.

Плюгавый старичишка вошел и закричал:

– Десятый час, а никто из вас ни черта не делает!! Будет ли когда-нибудь этому конец?!

Предыдущий важный начальник подскочил в кресле как мяч, а молодой господин, названный им до того «лодырем», предупредительно сообщил мне на ухо:

– Главный агент притащился.

Так я начал свою службу.

Прослужил я год, все время самым постыдным образом плетясь в хвосте Сережи Зельцера. Этот юноша получал 25 рублей в месяц, когда я получал 15, а когда и я дослужился до 25 рублей – ему дали 40. Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом паука...

Шестнадцати лет я расстался со своей сонной транспортной конторой и уехал из Севастополя (забыл сказать – это моя родина) на какие-то каменноугольные рудники. Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрягах отца...

Это был самый грязный и глухой рудник в свете. Между осенью и другими временами года разница заключалась лишь в том, что осенью грязь была там выше колен, а в другое время – ниже.

И все обитатели этого места пили, как сапожники, и я пил не хуже других. Население было такое небольшое, что одно лицо имело целую уйму должностей и занятий. Повар Кузьма был в то же время и подрядчиком и попечителем рудничной школы, фельдшер был акушеркой, а когда я впервые пришел к известнейшему в тех краях парикмахеру, жена его просила меня немного обождать, так как супруг ее пошел вставлять кому-то стекла, выбитые шахтерами в прошлую ночь.

Эти шахтеры (углекопы) казались мне тоже престранным народом: будучи, большей частью, беглыми с каторги, паспортов они не имели, и отсутствие этой неременной принадлежности российского гражданина заливали с горестным видом и отчаянием в душе – целым морем водки.

Вся их жизнь имела такой вид, что рождались они для водки, работали и губили свое здоровье непосильной работой – ради водки и отправлялись на тот свет при ближайшем участии и помощи той же водки.

Однажды ехал я перед Рождеством с рудника в ближайшее село и видел ряд черных тел, лежавших без движения на всем протяжении моего пути; попадались по двое, по трое через каждые 20 шагов.

– Что это такое? – изумился я...

– А шахтеры, – улыбнулся сочувственно возница. – Горилку куповалы у селе. Для Божьего праздничку.

– Ну?

– Тай не донесли. На мисти высмоктали. Ось как!

Так мы и ехали мимо целых залежей мертвецки пьяных людей, которые обладали, очевидно, настолько слабой волей, что не успевали даже добежать до дому, сдаваясь охватившей их глотки палящей жажде там, где эта жажда их застигала.

И лежали они в снегу, с черными бессмысленными лицами, и если бы я не знал дороги до села, то нашел бы ее по этим гигантским черным камням, разбросанным гигантским мальчиком-с-пальчиком на всем пути.

Народ это был, однако, по большей части крепкий, закаленный, и самые чудовищные эксперименты над своим телом обходились ему сравнительно дешево. Проламывали друг другу головы, уничтожали начисто носы и уши, а один смельчак даже взялся однажды на заманчивое пари (без сомнения – бутылка водки) съесть динамитный патрон. Проделав это, он в течение двух-трех дней, несмотря на сильную рвоту, пользовался самым бережливым и заботливым вниманием со стороны товарищей, которые все боялись, что он взорвется.

По миновании же этого странного карантина-был он жестоко избит.

Служащие конторы отличались от рабочих тем, что меньше дрались и больше пили. Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, на нашем маленьком, окруженном неизмеримыми степями островке собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, отбросов и обгрызков брезгливого белого света.

Занесенные сюда гигантской метлой Божьего произволения, все они махнули рукой на внешний мир и стали жить, как Бог на душу положит. Пили, играли в карты, ругались пренебрежительно отчаянными словами и во хмелю пели что-то настойчивое тягучее и танцевали угрюмо-сосредоточенно, ломая каблуками полы и извергая из ослабевших уст целые потоки хулы на человечество.

В этом и состояла веселая сторона рудничной жизни. Темные ее стороны заключались в каторжной работе, шагании по глубочайшей грязи из конторы колонию и обратно, а также в отсиживании в кордегардии по целому ряду диковинных протоколов, составленных пьяным урядником.

Когда правление рудников было переведено в Харьков, туда же забрали и меня, и я ожил душой и окреп телом...

По целым дням бродил я по городу, сдвинув шляпу набекрень и независимо насвистывая самые залихватские мотивы, подслушанные мною в летних шантанах мeste, которое восхищало меня сначала до глубины души. Работал я в конторе отвратительность и до сих пор недоумеваю: за что держали меня там шесть лет, ленивого, смотревшего на работу с отвращением и по каждому поводу вступавшего не только с бухгалтером, но и с директором в длинные, ожесточенные споры и полемику.

Вероятно, потому, что был я превеселым, радостно глядящим на широкий Божий мир человеком, с готовностью откладывая работу для смеха, шуток и ряда замысловатых анекдотов, что освежало окружающих, погрязших в работе, скучных счетах и дрызгах.

Литературная моя деятельность была начата в 1904 году и была она, как мне казалось, сплошным триумфом. Во – первых я написал рассказ... Во-вторых, я отнес его в «Южный край». И в-третьих (до сих пор я того мнения, что в рассказе это самое главное), в-третьих, он был напечатан!

Гонорар я за него почему-то не получил, и это тем более несправедливо, что едва он вышел в свет, как подписка и розница газеты сейчас же удвоилась...

Те же самые завистливые, злые языки, которые пытались связать день моего рождения с каким-то еще другим праздником, связали и факт поднятия розницы с началом русско-японской войны.

Ну, да мы-то, читатель, знаем с вами, где истина...

Написав за два года четыре рассказа, я решил, что поработал достаточно на пользу родной литературы и решил основательно отдохнуть, но подкатился 1905 год и, подхватив меня, закрутил меня, как щепку.

Я стал редактировать журнал «Штык», имевший в Харькове большой успех, и совершенно забросил службу. Лихорадочно писал я, рисовал карикатуры, редактировал и корректировал, и на девятом номере дорисовался до того, что генерал-губернатор Пешков оштрафовал меня на 500 рублей, мечтая, что немедленно заплачу их из карманных денег.

Я отказался по многим причинам, главные из которых были отсутствие денег и нежелание потворствовать капризам легкомысленного администратора.

Увидев мою непоколебимость (штраф был без замены тюремным заключением), Пешков спустил цену до 100 рублей.

Я отказался.

Мы торговались, как маклаки, и я являлся к нему чуть не десять раз. Денег ему так и не удалось выжать из меня!

Тогда он, обидевшись, сказал.

– Один из нас должен уехать из Харькова!

– Ваше превосходительство! – возразил я – Давайте предложим харьковцам кого они выберут?

Так как в городе меня любили и даже до меня доходили смутные слухи о желании граждан увековечить мой образ постановкой памятника, то г. Пешков не захотел рисковать своей популярностью.

И я уехал, успев все-таки до отъезда выпустить 5 номера журнала «Меч», который был так популярен, что экземпляры его можно найти даже в Публичной библиотеке.

В Петроград я приехал как раз на Новый год.

Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уж ничего не скажу! Помолчу.

И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я, – могу дать честное слово, – увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных, простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд в большой незнакомый город. Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни.

И вот – начал я ее.

Первые мои шаги были связаны с основанным нами журналом «Сатирикон», и до сих пор я люблю, как собственное дитя, этот прекрасный, веселый журнал (в год 8 руб, на полгода 4 руб).

Успех его был наполовину моим успехом, и я с гордостью могу сказать теперь, что редкий культурный человек не знает нашего «Сатирикона» (на год 8 руб, на полгода 4 руб).

В этом месте я подхожу уже к последней, ближайшей эре моей жизни, и я не скажу, но всякий поймет, почему я в этом месте умолкаю.

Из чуткой, нежной, до болезненности нежной скромности я умолкаю.

Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Но если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фальера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение...

Борьба с роскошью

– Имею честь рекомендоваться: действительный член новооткрытой петроградской лиги для борьбы с роскошью и мотовством.

– А! Действительный?

– Да-с.

– Это хорошо, что действительный. Прошу покорнейше садиться...

– Куда?

– А вот в это кресло.

– В это кресло? Ни за что. Оно ведь, поди, рублей пятьдесят стоит?

– 120.

– Сто двадцать?! О, Боже! Какое возмутительное мотовство! Принципиально не сяду...

Я лучше, тут, на подоконничке...

– Чем могу служить?

– Я пришел вам сказать одно только слово... Кажется, господин Фурсиков?

– Фурсиков.

– Одно слово: опомнитесь, Фурсиков! Нам сообщили, что вы живете роскошно и мотаете деньги без всякого толку и смысла... На чем, например, вы сейчас стоите?

– На полу.

– Нет, на ковре! А ковер-то персидский, а цена-то ему пятьсот рублей, а на ковре-то этом еще лежит медвежья шкура, тоже, поди, в два ста ее не уберешь?

– 550.

– Я не падаю в обморок от этой цифры только потому, что у меня крепкие нервы. Эх, господин Фурсиков! Нужен вам этот ковер? Нет, не нужен. Нужен медведь? Ни для какого черта не нужен. Это у вас что за комната?

– Кабинет...

– Так-с... А та?

– Столовая.

– Ну, скажите, пожалуйста... Неужели, эти две комнаты нельзя соединить в одну? Или обедайте в кабинете или занимайтесь в столовой. Ведь два дела за раз вы не будете делать – обедать и заниматься. Значит – для чего же две комнаты?

– Но у меня тут письменный стол...

– А для чего он вам? На обеденном и занимайтесь... Если бумаги какие есть, документы – их можно в ящичек из-под макарон класть. Макароны скушать, а в пустой ящичек прятать после работы бумаги... Наконец – чернильница! Для чего вам такая огромная – с каким-то орлом, с бронзой и мрамором? Прекрасно и баночка из-под горчицы служить может. Горчицу скушали, а в баночку чернил налили... Это что за комната?

– Спальня...

– Ну, вот, ну, вот! В кабинете есть огромный широкий диван, есть оттоманка, а вы еще спальню заводите. Что за мотовство?!..

– Но... у меня ведь жена...

– Ну, что ж... Прекрасно на этой оттоманке уместились бы с женой рядом...

– На ней нельзя спать... Плюш испортится.

– А зачем плюш? Клеенкой обтянули и конец. Что за швыряние деньгами. Лучше бы эти деньги на военные нужды пожертвовали... О! Там еще комната?

– Да... Это спальня моего брата...

– Зачем? К чему? Кому это нужно? Спальня! В том же кабинете можно и устроиться. Вы с женой на оттоманке, брат на диване. Когда брат раздевается – жена ваша выходит на

минуту, жена раздевается – брат выходить. Господи! Только было бы желание, а устроиться всегда можно...

– Но... у жены есть туалетный столик... его некуда тут поставить...

– Как некуда? А на ваш письменный стол. Такой огромный дурак, – неужели он не сможет сдержать этого крошки... И преудобно будет: жена ваша взбирается на письменный стол (вы ее можете и посадить) и садится за туалетный столик, причесываться или что она там делает, вы у ее ног сидите, работаете, а на другом конце стола может сидеть ваш брат и есть в это время колбасу.

– Нет, так неудобно... Жена любит, чтобы из спальни был ход прямо в ванную...

– О, Боже милостивый! Что вы, Ротшильд, что ли? Зачем вам отдельная ванная? Ванну можно поставить на место этой этажерки с безделушками и отгородить ее ситцевой занавесочкой... Да постойте! Ведь тут, вместо этого мраморного идиота, можно поставить керосинку... Тогда вам и кухни не надо... Жена будет жарить на керосинке яичницу, брат рубит, скажем, котлеты, а вы чистите картошку! Ни кухни, ни кухарки не надо... А экономию всю на нужды войны жертвуйте... Сколько у вас теперь комнат?

– Ш... шесть...

– Ну, вот! А я вам доказываю, что одной довольно... Тесновато, вы думаете? А на кой дьявол вам два шкафа книг? Что вы их все сразу читаете, что ли? Ведь больше одной за раз не читаете? Ну, вот! Запишитесь в какую-нибудь библиотеку и берите книги, а эти продайте, а деньги на Красный Крест пожертвуйте... Ведь сердце кровью обливается, когда на вас смотришь. Это что – жакет на вас?

– Жакет...

– Рублей 60, поди, стоить.

– 140.

– Ну, вот! Кому это нужно?! Взяла бы жена и сшила сама из трико по три двадцать аршин; и прочно и хорошо. Пальто, вон, я ваше в передней видел. Почему на меху? Можно и в весеннем проходить зиму, а ежели холодно, то не ездить на извозчиках или там на трамваях, а просто бежать по улице. И экономия времени, и согреешься... А это пальто спустить надо, а денежки на шитье противогазов пожертвовать. Гм... да! Позвольте, г. Фурсиков... Почему же вы плачете?

– О, г. действительный член петроградской лиги для борьбы с роскошью и мотовством! Вы так хорошо говорили, так убедили и меня, и жену мою, и брата, что мы решили во всем и везде следовать тем принципам, с которыми сейчас познакомились...

– Гм... Ну, да... Я очень рад... гм!.. Очень. Утрите слезы. Еще не все потеряно... Прощайте, г. Фурсиков, прощайте, мадам. А где же ваш братец?

– А он тут побежал в одно место... А, вот он! Вернулся.

– Прощайте, господа... Это что у вас, передняя? Ну зачем такая большая передняя... Все верхнее платье можно вешать в кабинете, около ванны... А экономию пожертвовать на нужды... гм! Где же мое пальто?

– Вот оно.

– Это не мое. У меня было с бобровым воротником, новое...

– Нет, это ваше. Это ничего, что оно старенькое и без воротника. Если вам будет холодно – можете бежать...

– Где мое пальто?!!

– Вот такое есть. Не кричите. А то, которое было вашим, мой брат успел заложить за 300 рублей в ломбард, а деньги внес на Красный Крест... Вот и квитанция. Простите, г. член для борьбы с роскошью, но вы так хорошо говорили, что мой брат не мог сдержать порыва... Всего хорошего... Позвольте, господин!.. Квитанцию забыли захватить...

– Ушел... Обиделся, что ли, не понимаю...

И на что бы, кажется?

Булавка против носорога

Старый добрый немецкий слуга Фриц вошел в кабинет министра иностранных дел и доложил:

– Там посланники пришли: испанский, итальянский и американский.

Дремавший до того министр встрепенулся:

– Зачем?

– Протест, говорят, хотим заявить. Против наших германских зверств.

– Так. А пришли-то они зачем?

– Да протест же заявить. Против зверств.

– Ну, да, я это понимаю... Конечно – протест, конечно, – зверства... Это, как полагается.

Но причина прихода их в чем заключается?

– Да зверства же!! Протест!..

– Однако, и туп же ты, братец. Ему говоришь одно, а он бубнит другое!.. Пойми ты своими куриными мозгами: протест против наших зверств это – одно, а причина прихода – другое. Ведь это – все равно, как к тебе пришел какой-нибудь человек и говорит тебе, войдя: Здравствуйте! Ну? Так ведь слово «Здравствуйте», это – не причина его прихода, не повод, по которому он к тебе явился, а так просто... обычная, общепринятая формула. Понял?

– Ну, да. Пришел он к тебе, сказал: здравствуйте! а потом уже и выясняется то дело, по которому он пришел. Возьмет ли он у тебя взаймы десять марок, сделает ли тебе предложение пойти в биргалле, даст ли тебе по морде, – это все дела, по которым он пришел... А «здравствуйте» тут не причем. Понял? Так вот, ты мне теперь и ответь: зачем пришли эти дипломаты?

Фриц стал на колени посреди кабинета и заплакал:

– Пожалейте меня старого дурака, не мучайте меня. Дипломаты пришли выразить свой протест против германских зверств, а больше я ничего не знаю...

– Пошел вон, старая рассохшаяся бочка! Тебе не в дипломатическом ведомстве служить, а воду возить. Проси их сюда!

Через минуту три дипломата – итальянский, американский и испанский – вошли в кабинет, стали в ряд и, молча, отвесили немецкому министру холодный поклон.

– Чем могу служить, господа? – приветливо спросил министр.

Американский посланник кашлянул в руку и сказал, нахмутив брови:

– От имени своего, американского, и от имени Италии и Испании, мы, представители этих нейтральных держав, горячо протестуем против тех насилий, зверств и правонарушений, не согласных с обычными способами ведения войны, – тех правонарушений, кои были допущены германцами в настоящую войну. С совершенным уважением к вам пребываем – представители Америки, Италии и Испании.

– Хорошо, хорошо, господа. Спасибо. Покорнейше, прошу сесть. Чем могу служить?

Снова поднялся уже усевшийся в кресло американский посланник и отчеканил:

– Чем вы нам можете служить? А тем, что мы просим вас принять во внимание наш протест против тех насилий над мирным населением и нарушений обычая войны, которые допускаются германской армией.

– Да, да. Вы это уже говорили, хорошо. Протест ваш принят. А по какому делу вы осчастливили меня своим визитом?

– Ах, ты. Господи! Да мы и пришли только за тем, чтобы заявить протест.

– И больше ничего?

– Ничего.

Посидели молча.

– Снег-то какой повалил, – сказал испанский посланник, поглядывая в окно.

- Да, погода нехорошая, – согласился германский министр.
 - Говорят, когда зима снежная, то лето будет жаркое, – заметил итальянец.
 - Да.
 - Ну, – шумно вздыхая, встал с кресла американец, – посидели, пора и честь знать. Пойдемте господу, не будем мешать хозяину.
- Распрощались. Ушли.

* * *

Через несколько дней, выбрав свободные полчаса, снова зашли представители нейтральных держав в германское министерство иностранных дел.

- А-а, – встретил их министр. – Вероятно с протестом.
- Вы угадали. Германские зверства, и насилия все еще продолжаются, и мы протестуем...
- На этот раз – энергично! – подсказал испанец.
- Да! – поддержал итальянец. – Мы выражаем свой энергичный протест.
- А раньше был разве простой? – спросил германский министр. – Я думал, что энергичный.
- Нет... Тот, что раньше – был простой. А вот теперь так энергичный.
- Энергичнейший! – кивнул головой итальянец.
- Самый эдакий... что называется... ну одним словом, – энергичный! – пылко вскричал испанец.
- Хорошо, господу. Не присядете-ли? Что новенького в ваших палестинах?

* * *

Соединенная комиссия из представителей нейтральных стран выезжала на театр военных действий.

Цель поездки была: зарегистрировать германские зверства и заявить против них свой протест.

Провожающие говорили:

– Господу уезжающие! На вашу долю выпала великая миссия: заявить энергичный протест против тех насилий и тевтонских зверств, которые все время допускаются по отношению мирного населения потерявшими всякую меру так называемыми «культурными» немцами. Эта культура – в кавычках!

– Браво, браво. Это очень зло сказано! «Культурные» немцы в кавычках! Метко, ядовито и бьет прямо в цель! Я думаю, ежели немецкому солдату бросить эту фразу в лицо, – ему не поздоровится!

– Итак, господу, – осветите перед лицом всего культурного мира...

– Культурного мира без кавычек!

– ...Да, без кавычек. Пусть весь культурный мир, без всяких кавычек, узнает, что делают немцы в кавычках. Пусть эти кавычки, как несмываемое позорное пятно, будут гореть в немецком сердце!..

– В сердце, в кавычках!

– Верно, браво! Пусть пятно, без кавычек, горит в сердце в кавычках!! Пусть культура в кавычках содрогнется и опустит голову перед культурой без кавычек!

– Браво. А главное, господу, протестуйте всюду и везде, в кавычках и без кавычек!

Заклеймите сердобольное в кавычках отношение немцев в кавычках к раненым без кавычек и к пленным... тоже без кавычек!..

– Зло! Метко! Ядовито! Браво. Браво, без всяких кавычек, черт возьми!..

- Ну, едем, господа!
- До свиданья без кавычек!
- Берегите себя без кавычек против немцев в кавычках!
- Носильщик! Где тут, вагон номер семь без кавычек? Поехали.

* * *

Члены международной нейтральной комиссии протеста против германских зверств приблизились к маленькой бельгийской деревушке и, отыскав лейтенанта, командовавшего отрядом, спросили его:

– Если не ошибаемся, ваши солдаты поджигают сейчас крестьянские дома?

– Да... жаль только, что плохо горят. Отсырели, что-ли.

– Зачем-же вы это делаете? Ведь никто вам сопротивления не оказывал, припасы отдали все добровольно...

– А вы войдите в мое положение: из штаба получился приказ: навести ужас на население. Как ни вертись, – а наводить ужас надо. Вот я и тово... навожу. Эй, вахмистр! Вели облить керосином те два дома, что стоят у оврага. Да, чтобы соломы внутрь побольше насовали.

– Слушайте, – сказал председатель нейтральной комиссии. – Мы горячо протестуем против этих ни на чем не основанных зверств.

– Да, – подтвердил секретарь. – Выражаем свой протест.

– Что ж делать, господа – философски заметил лейтенант. – У каждого своя профессия. У меня – поджигать дома, у вас – выражать протест. Виноват, не потрудитесь ли вы выйти из этого дома на свежий воздух?

– А что?

– Мы его сейчас тоже жечь будем.

– Как? Вы хотите и этот дом сжечь? Так вот же вам: мы выражаем свой энергичный протест!..

– Хорошо, хорошо. На свежем воздухе выразите.

– Мы протестуем против такого способа ведения войны в кавычках!

– Швунке! Солому в рояль! Динамитный патрон туда! Господа! Посторонитесь...

* * *

Идя по деревенской улице, секретарь комиссии говорил председателю:

– А ловко я срезал этого немца: я, мол, называю ваш способ ведения войны способом в кавычках.

– Ну, это вы уж слишком. Конечно, он виду не показал, а втайне, наверное, обиделся. Нельзя же так резко... Что там такое? Что за группа у стены?!

– Смотрите: связанные женщины и дети... Против них солдаты с ружьями... Прицеливаются. Надо бежать скорей туда, – пока не поздно.

Вся комиссия побежала.

– Эй, вы! Постойте! Обождите! Что вы такое хотите делать?

– Слепли, что ли? Надо расстрелять эту рухлядь.

– Постойте! Одну минуту... Мы...

– Ну?..

– Мы... вы...

– Ну, что такое – мы, вы? В чем дело?

– Мы вы... выражаем свой протест против такого зверского обращения с мирным населением...

- Энергичный протест! – подхватил секретарь.
- А вы не можете выразить свой протест немного левее от этого места?
- А что?
- Да, что ж вы торчите между ружейными дулами, и этими вот... Отойдите в сторонку.
- Мы, конечно, отойдем, но тут же считаем своим долгом громко и во всеуслышание заявить свой протест...
- Энергичнейший! – крикнул секретарь...
- Пли!..

* * *

Всякое самое удивительное, самое редкое явление, если оно начинает быть частым, сейчас же переходит незаметным образом в будничным уклад человеческой жизни, становится «бытовым явлением» (в кавычках).

И без этого бытового явления, без этого штриха, вошедшего в жизненный человеческий уклад, – становится как-то пусто... Чего-то не хватает, что-то будто не сделано.

Первые выступления нейтральной международной комиссии протеста на местах против германских зверств некоторым образом удивляли, сбивали с толку.

А потом все вошло в колею.

Запыхавшийся немецкий солдатик в сдвинутой на затылок каске прибежал в местечко, где содержались пленные и, отдышавшись, спрашивал:

- Не у вас ли, которая комиссия для протеста?
- У нас. Давеча долго протестовала, что, дескать, голодом морим пленных...
- Так передайте им, чтобы они сейчас же шли протестовать в деревню Сан-Пьер. Мы ее подожжем с четырех концов, а жителей вырежем.
- Опоздал, братец! Их тут уже с полчаса дожидается ординарец: приглашают протестовать против добивания раненых на поле сражения. Только что сорок человек добились.
- Эх, незадача!
- Да нешто без них, без комиссии-то, – уж и деревни не подожжете?
- Поджечь-то конечно, можно, да все как-то не то. Без протеста нет того смаку. Опять же для порядка...

* * *

И работает донныне, работает усталая комиссия, не покладая рук и языка.

Дети

I

Я очень люблю детишек и без ложной скромности могу сказать, что и они любят меня.

Найти настоящий путь к детскому сердцу – очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бонн, гувернанток и нянек.

Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад...

Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, свояченицы и троих детей, трех благонаправных мальчиков от 8 до 11 лет.

В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем:

– Миленький! Сегодня я с женой и свояченицей уеду дня на три. Ничего, если мы оставим тебя одного?

Я добродушно ответил:

– Если ты опасаясь, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище, – то опасения твои преувеличены более чем на половину.

– Дело не в том... А у меня есть еще одна просьба: присмотри за детишками! Мы, видишь ли, забираем с собой и немку.

– Что ты! Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия: как это так за ними присматривают?

– Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не было скучно... Ты такой милый!..

– Милый-то я милый... А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?

– Я скажу им... О, я уверен, вы быстро сойдетесь. Ты такой общительный.

Были призваны дети. Три благонаправных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках. Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо.

– Вот, дети, – сказал отец, – с вами остается дядя Миша! Михаил Петрович. Слушайте его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие, и, я уверен, вы быстро сойдетесь. Да и три дня – не год же, черт возьми!

Через час все, кроме нас, сели в экипаж и уехали.

II

Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная, угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно последовала за мной, испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения.

До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами. Я слышал, что детская душа больше всего любит прямоту и дружескую откровенность. Поэтому я решил действовать начистоту.

– Эй, вы! Маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью

далеко, и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет стоять на голове?

Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение.

– Мы... не умеем... стоять... на головах.

– Напрасно. Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются об том с похвалой. Вот так, смотрите!

Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову. Дети сделали движение, полное удовольствия и одобрения, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи стояла перед их глазами тяжелым кошмаром.

Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях.

Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное.

– Дети! – сказал я внушительно. – Я вам запрещаю – слышите ли, категорически и без отнекиваний запрещаю вам в эти три дня учить уроки!

Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. О! Я хорошо знал привязчивое детское сердце. В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись ближе.

Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением...

За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаруживавшую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я ни проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной не по росту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение. Нельзя сказать, чтобы чтение прояснило ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова: «Папа, мама», и то при очень сильном нажатии груди. Это, да еще уменье в лежащем положении закрывать глаза составляло всю ее ценность, обозначенную тут же, в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди: «7 руб. 50 коп.»

Повторяю – это была единственная встреченная мною прилежная девочка, да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками.

Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганам. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается: ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке!

III

– Будем жить в свое удовольствие, – предложил я детям. – Что вы любите больше всего?

– Курить! – сказал Ваня.

– Купаться вечером в речке! – сказал Гришка.

– Стрелять из ружья! – сказал Леля.

– Почему же вы, отвратительные дьяволята, – фамильярно спросил я, – любите все это?

– Потому что нам запрещают, – ответил Ваня, вынимая из кармана папироску. – Хотите курить?

– Сколько тебе лет?

– Десять.

– А где ты взял папиросы?

– Утащил у папы.

– Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно и грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уже утащил – будем курить их. А выйдут – я угощу вас своими.

Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах, причем я рассказал несколько не лишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке, что такое звук и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров.

Поговорили о домовых, живших на конюшне.

Потом беседа прекратилась. Молчали...

– Скажи ему! – шепнул толстый, ленивый Лелька подвижному, порывистому Гришке. – Скажи ты ему!..

– Пусть лучше Ваня скажет, – шепнул так, чтобы я не слышал, Гришка. – Ванька, скажи ему.

– Стыдно, – прошептал Ваня. Речь, очевидно, шла обо мне.

– О чем вы, детки, хотите мне сказать? – осведомился я.

– Об вашей любовнице, – хриплым от папиросы голосом отвечал Гришка. – Об тете Лизе.

– Что вы врете, скверные мальчишки? – смутился я. – Какая она моя любовница?

– А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду.

Меня разобрал смех.

– Да как же вы это видели?

– А мы с Лелькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали: «Милая! Ведь я не с дурными намерениями!» А тетка головой крутит, говорит: «Ах, ах!..»

– Дура! – сказал, усмехаясь, маленький Лелька. Мы помолчали.

– Что же вы хотели мне сказать о ней?

– Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастливым человеком будете.

– А чем же она плохая? – спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы.

– Как вам сказать... Слякоть она!

– Не женитесь! – предостерег Гришка.

– Почему же, молодые друзья?

– Она мышей боится.

– Только всего?

– А мало? – пожал плечами маленький Лелька. – Визжит, как шумашедшая. А я крысу за хвост могу держать!

– Вчера мы поймали двух крыс. Убили, – улыбнулся Гришка.

Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвы моих отношений к глупой тетке, и ловко перевел разговор на разбойников.

О разбойниках все толковали со знанием дела, большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям.

Удивились моему терпению и выдержке: такой я уже большой, а еще не разбойник.

– Есть хочу, – сказал неожиданно Лелька.

– Что вы, братцы, хотите: наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки уху с картофелем или идти в дом и есть кухаркин обед?

Милые дети отвечали согласным хором:

– Ухи.

– А картофель как достать: попросить на кухне или украсть на огороде?

– На огороде. Украсть.

– Почему же украсть лучше, чем попросить?

– Веселее, – сказал Гришка. – Мы и соль у кухарки украдем. И перец! И котелок!! Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром.

IV

Был уже вечер, когда мы, разложив у реки костер, хлопотали около котелка. Ваня ошипывал стащенного им в сарае петуха, а Гришка, голый, только что искупавшийся в теплой речке, плясал перед костром.

Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением.

Лелька держал меня за руку и безмолвно, полным обожания взглядом глядел мне в лицо.

Неожиданно Ванька расхохотался:

– Что, если бы папа с мамой сейчас явились? Что бы они сказали?

– Хи-хи! – запищал голый Гришка. – Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда.

– А все Михаил Петрович, – сказал Лелька, почтительно целуя мою руку.

– Мы вас не выдадим!

– Можно называть вас Мишей? – спросил Гришка, окуная палец в котелок с ухой. – Ой, горячо!..

– Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной?

– Превосхитительно!

Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой.

– Давайте ночевать тут, – предложил кто-то.

– Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро, – возразил я.

– Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить будем.

– Не простудимся?

– Нет, – оживился Ванька. – Накажи меня Бог, не простудимся!!!

– Ванька! – предостерег Лелька. – Божишься? А что немка говорила?

– Божиться и клясться нехорошо, – сказал я. – В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы... Например: «Клянусь своей бородой!» «Тысяча громов»... «Проклятие неба!»

– Тысяча небов! – проревел Гришка. – Пойдем собирать сухие ветки для костра.

Пошли все. Даже неповоротливый Лелька, державшийся за мою ногу и громко сопевший.

Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более что скоро пригрело солнце, защebetали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий.

V

Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие...

Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно – с прямой целью отвертеться от утомительного снятия и надевания штанов при купании.

Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более что все это время они упражнялись лишь в кратких, выразительных фразах:

– Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою папиросу?.. Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало осечку. Дай-ка, Миша, спичечки!

К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство: что скажут родители по возвращении? Дети успокаивали меня, как могли:

– Ну, поколотят вас, эка важность! Ведь не убьют же!

– Тысяча громов! – хвастливо кричал Ванька. – А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет!

– Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.

– Ничего, Миша! – успокаивал меня Лелька, хлопая по плечу. – Зато хорошо пожил!

Вечером приехали из города родители, немка и та самая «глупая тетка», на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей.

Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб.

Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал:

– Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сблизюсь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу... Вот, смотри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?

– Тебя! – хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами.

– Пошли вы бы со мной на грабеж, на кражу, на лишения, холод и голод?

– Пойдем, – сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пуститься в предложенные мной авантюры.

– Было ли вам эти три дня весело?

– Ого!!

Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченными порохом и дымом костра.

Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками:

– Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?

– Да! – сказал бесстрашный Лелька, вздыхая. – Клянусь своей бородой! Пошел бы.

Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды.

Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом:

– Хохочет... Тоже! Будто ей под юбку мышью подбросили! Дура.

Крыса на подносе

- Хотите пойти на выставку нового искусства? – сказали мне.
- Хочу, – сказал я.
- Пошли.

I

- Это вот и есть выставка нового искусства? – спросил я.
- Эта самая.
- Хорошая.

Услышав это слово, два молодых человека, долговязых, с прекрасной розовой сыпью на лице и изящными деревянными ложками в петлицах, подошли ко мне и жадно спросили:

- Серьезно, вам наша выставка нравится?
- Сказать вам откровенно?
- Да!
- Я в восторге.

Тут же я испытал невыразимо приятное ощущение прикосновения двух потных рук к моей руке и глубоко волнующее чувство от созерцания небольшого куска рогожи, на котором была нарисована пятиногая голубая свинья.

- Ваша свинья? – осведомился я.
- Моего товарища. Нравится?
- Чрезвычайно. В особенности эта пятая нога. Она придает животному такой мужественный вид. А где глаз?
- Глаза нет.
- И верно. На кой черт действительно свинье глаз? Пятая нога есть – и довольно. Не правда ли?

Молодые люди, с чудесного тона розовой сыпью на лбу и щеках, недоверчиво поглядели на мое простодушное лицо, сразу же успокоились, и один из них спросил:

- Может, купите?
- Свинью? С удовольствием. Сколько стоит?
- Пятьдесят...

Было видно, что дальнейшее слово поставило левого молодого человека в затруднение, ибо он сам не знал, чего пятьдесят: рублей или копеек? Однако, заглянув еще раз в мое благожелательное лицо, улыбнулся и смело сказал:

- Пятьдесят ко... рублей. Даже, вернее, шестьдесят рублей.
- Недорого. Я думаю, если повесить в гостиной, в простенке, будет очень недурно.
- Seriously, хотите повесить в гостиной? – удивился правый молодой человек.
- Да ведь картина же. Как же ее не повесить!

– Положим, верно. Действительно картина. А хотите видеть мою картину «Сумерки насущного»?

- Хочу.
- Пожалуйста. Она вот здесь висит. Видите ли, картина моего товарища «Свинья как таковая» написана в старой манере, красками; а я, видите ли, красок не признаю; краски связывают.

– Еще как, – подхватил я. – Ничто так не связывает человека, как краски. Никакого от них толку, а связывают. Я знал одного человека, которого краски так связали, что он должен был в другой город переехать...

- То есть как?

- Да очень просто. Мильдяевым его звали. Где же ваша картина?
- А вот висит. Оригинально, не правда ли?

II

Нужно отдать справедливость юному маэстро с розовой сыпью – красок он избегнул самым положительным образом: на стене висел металлический черный поднос, посредине которого была прикреплена каким-то клейким веществом небольшая дохлая крыса. По бокам ее меланхолически красовались две конфетные бумажки и четыре обгорелые спички, расположенные очень приятного вида зигзагом.

– Чудесное произведение, – похвалил я, полюбовавшись в кулак. – Сколько в этом настроения!.. «Сумерки насущного»... Да-а... Не скажи вы мне, как называется ваша картина, я бы сам догадался: э, мол, знаю! Это не что иное, как «Сумерки насущного»! Крысу сами поймали?

- Сам.
- Чудесное животное. Жаль, что дохлое. Можно погладить?
- Пожалуйста.

Я со вздохом погладил мертвое животное и заметил:

– А как жаль, что подобное произведение непрочно... Какой-нибудь там Веласкес или Рембрандт живет сотни лет, а этот шедевр в два-три дня, гляди, и испортится.

– Да, – согласился художник, заботливо поглядывая на крысу. – Она уже, кажется, разлагается. А всего только два дня и провисела. Не купите ли?

– Да уж и не знаю, – нерешительно взглянул я на левого. – Куда бы ее повесить? В столовую, что ли?

– Вешайте в столовую, – согласился художник. – Вроде этакого натюрморта.

– А что, если крысу освежать каждые два-три дня? Эту выбрасывать, а новую ловить и вешать на поднос?

– Не хотелось бы, – поморщился художник. – Это нарушает самоопределение артиста. Ну, да что с вами делать! Значит, покупаете?

– Куплю. Сколько хотите?

– Да что же с вас взять? Четыреста... – Он вздрогнул, опасливо поглядел на меня и со вздохом закончил: – Четыреста... копеек.

– Возьму. А теперь мне хотелось бы приобрести что-нибудь попрочнее. Что-нибудь этаткое... неорганическое.

– «Американец в Москве» – не возьмете ли? Моя работа.

Он потащил меня к какой-то доске, на которой были набиты три жестяные трубки, коробка от консервов, ножницы и осколок зеркала.

– Вот скульптурная группа: «Американец в Москве». По-моему, эта вещица мне удалась.

– А еще бы! Вещь, около которой можно за-ржать от восторга. Действительно, эти приезжающие в Москву американцы, они тово... Однако вы не без темперамента... Изобразить американца вроде трех трубочек...

– Нет, трубочки – это Москва! Американца, собственно, нет; но есть, так сказать, следы его пребывания...

– Ах, вот что. Тонкая вещь. Масса воздуха. Колоритная штукенция. Почему?

– Семьсот. Это вам для кабинета подойдет.

– Семьсот... Чего?

– Ну, этих самых, не важно. Лишь бы наличными.

III

Я так был тронут участием и доброжелательным ко мне отношением двух экспансивных, экзальтированных молодых людей, что мне захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить их.

– Господа! Мне бы хотелось принять вас у себя и почествовать как представителей нового чудесного искусства, открывающего нам, опустившимся, обрюзгшим, необозримые светлые дали, которые...

– Пойдемте, – согласились оба молодых человека с ложками в петлицах и миловидной розовой сыпью на лицах. – Мы с удовольствием. Нас уже давно не чествовали.

– Что вы говорите! Ну и народ пошел. Нет, я не такой. Я обнажаю перед вами свою бедную мыслями голову, склоняю ее перед вами и звонко, прямо, открыто говорю: «Добро пожаловать!»

– Я с вами на извозчике поеду, – попросился левый. – А то, знаете, мелких что-то нет.

– Пожалуйста! Так, с ложечкой в петлице и поедете?

– Конечно. Пусть ожиревшие филистеры и гнилые ипохондрики смеются – мы выявляем себя, как находим нужным.

– Очень просто, – согласился я. – Всякий живет как хочет. Вот и я, например. У меня вам кое-что покажется немного оригинальным, да ведь вы же не из этих самых... филистеров и буржуев!

– О, нет. Оригинальностью нас не удивишь.

– То-то и оно.

IV

Приехали ко мне. У меня уже кое-кто: человек десять – двенадцать моих друзей, приехавших познакомиться поближе с провозвестниками нового искусства.

– Знакомьтесь, господа. Это все народ старозаветный, закоренелый, вы с ними особенно не считайтесь, а что касается вас, молодых, гибких пионеров, то я попросил бы вас подчиниться моим домашним правилам и уставам. Раздевайтесь, пожалуйста.

– Да мы уж пальто сняли.

– Нет, чего там пальто. Вы совсем раздевайтесь.

Молодые люди робко переглянулись:

– А зачем же?

– Чествовать вас будем.

– Так можно ведь так... не раздеваясь.

– Вот оригиналы-то! Как же так, не раздеваясь, можно вымазать ваше тело малиновым вареньем?

– Почему же... вареньем? Зачем?

– Да уж так у меня полагается. У каждого, как говорится, свое. Вы бросите на поднос дохлую крысу, пару карамельных бумажек и говорите: это картина. Хорошо! Я согласен! Это картина. Я у вас даже купил ее. «Американца в Москве» тоже купил. Это ваш способ. А у меня свой способ чествовать молодые, многообещающие таланты: я обмазываю их малиновым вареньем, посыпаю конфетти и, наклеив на щеки два куса бумаги от мух, усаживаю чествуемых на почетное место. Есть вы будете особый салат, приготовленный из кусочков обоев, изрубленных зубных щеток и теплого вазелина. Не правда ли, оригинально? Запивать будете свинцовой примочкой. Итак, будьте добры, разденьтесь. Эй, люди! Приготовлено ли варенье и конфетти?

– Да нет! Мы не хотим... Вы не имеете права...

– Почему?!

– Да что же это за бессмыслица такая: взять живого человека, обмазать малиновым вареньем, обсыпать конфетти! Да еще накормить обоями с вазелином... Разве можно так? Мы не хотим. Мы думали, что вы нас просто кормить будете, а вы... мажете. Зубные щетки рубленые даете... Это даже похоже на издевательство!.. Так нельзя. Мы жаловаться будем.

– Как жаловаться? – яростно заревел я. – Как жаловаться? А я жаловался кому-нибудь, когда вы мне продавали пятиногих синих свиней и кусочки жести на деревянной доске? Я отказывался?! Вы говорили: мы самоопределяемся. Хорошо! Самоопределяйтесь. Вы мне говорили – я вас слушал. Теперь моя очередь... Что?! Нет уж, знаете... Я поступал по-вашему, я хотел понять вас – теперь понимайте и вы меня. Эй, люди! Разденьте их! Мажь их, у кого там варенье. Держите голову им, а я буду накладывать в рот салат... Стой, брат, не вырвешься. Я тебе покажу сумерки насущного! Вы самоопределяетесь – я тоже хочу самоопределиться...

V

Молодые люди стояли рядышком передо мной на коленях, усердно кланялись мне в ноги и, плача, говорили:

– Дяденька, простите нас. Ей-богу, мы больше никогда не будем.

– Чего не будете?

– Этого... делать... Таких картин делать...

– А зачем делали?

– Да мы, дяденька, просто думали: публика глупая, хотели шум сделать, разговоры вызвать.

– А зачем ты вот, тот, левый, зачем крысу на поднос повесил?

– Хотел как чуднее сделать.

– Ты так глуп, что у тебя на что-нибудь особенное, интересное даже фантазии не хватило.

Ведь ты глуп, братец?

– Глуп, дяденька. Известно, откуда у нас ум?!

– Отпустите нас, дяденька. Мы к маме пойдем.

– Ну ладно. Целуйте мне руку и извиняйтесь.

– Зачем же руку целовать?

– Раздену и вареньем вымажу! Ну?!

– Вася, целуй ты первый... А потом я.

– Ну, Бог с вами... Ступайте.

VI

Провозвестники будущего искусства встали с колен, отряхнули брюки, вынули из петлиц ложки и, сунув их в карман, робко, гуськом вышли в переднюю.

В передней, натягивая пальто, испуганно шептались:

– Влетели в историю! А я сначала думал, что он такой же дурак, как и другие.

– Нет, с мозгами парень. Я было испугался, когда он на меня надвигаться стал. Вдруг, думаю, подносом по голове хватит!

– Слава Богу, дешево отделались.

– Это его твоя крыса разозлила. Придумал ты действительно: дохлую крысу на поднос повесил!

– Ну, ничего. Уж хоть ты на меня не кричи. Я крысу выброшу, а на пустое место стеариновый огарок на носке башмака приклею. Оно и прочнее. Пойдем, Вася, пойдем, пока не догнали.

Ушли, объятые страхом...

Кто ее продал...

I

Не так давно «Русское Знамя» разоблачило кадетскую газету «Речь»... «Русское Знамя» доказало, что вышеозначенная беспринципная газета открыто и нагло продает Россию Финляндии, получая за это от финляндцев большие деньги.

Совсем недавно беспощадный ослепительный прожектор «Русского Знамени» перешел с газет на частных лиц, попал на меня, осветил все мои дела и поступки, обнаружив, что я, в качестве еврействующего журналиста, тоже подкуплен и – продаю свою отчизну оптом и в розницу, систематически ведя ее к распаду и гибели.

Узнав, что маска с меня сорвана, я сначала хотел увернуться, скрыть свое участие в этом деле, замаскировать как-нибудь те факты, которые вопиюще громко кричат против меня, но – ведь все равно: рано или поздно все всплывет наружу, и для меня это будет еще тяжелее, еще позорнее...

Лучше же я расскажу все сам.

Добровольное признание – это все, что может – если не спасти меня, то, хотя частью, облегчить мою вину...

Дело было так:

II

Однажды служанка сообщила мне, что меня хотят видеть два господина по очень важному делу.

– Кто же они такие? – любопытствовал я.

– Будто иностранцы. Один как будто из чухонцев, такой белаясь, а другой маленький, косо́й, черный. Не иначе – японец.

Два господина вошли и, подозрительно оглядев комнату, поздоровались со мной.

– Чем могу служить?

– Я – прикомандированный к японскому посольству маркиз Оцуна.

– А я, – сказал блондин, небрежно играя финским ножом, – уполномоченный от финляндской революционной партии «Войма». Моя фамилия Муляйнен.

– Я вас слушаю, – кивнул я головой.

Маркиз толкнул своего соседа локтем, нагнулся ко мне и, пронзительно глядя в глаза, прошептал:

– Скажите... Вы не согласились бы продать нам Россию?

Мой отец был купцом, и у меня на всю жизнь осталась от него наследственная коммерческая жилка.

– Это смотря как... – прищурился я. – Продать можно. Отчего не продать?.. Только какая ваша цена будет?

– Цену мы дадим вам хорошую, – отвечал маркиз Оцуна. – Не обидим. Только уж и вы не запрашивайте.

– Запрашивать я не буду, – хладнокровно пожал я плечами. – Но ведь нужно же понимать и то, что я вам продаю. Согласитесь сами, что это не мешок картофеля, а целая громадная страна. И, притом, – нужно добавить, горячо мною любимая.

– Ну, уж и страна!.. – иронически усмехнулся Муляйнен.

– Да-с! Страна! – горячо вскричал я. – Побольше вашей, во всяком случае... Свыше пятидесяти губерний, две столицы, реки какие! Железные дороги! Громадное народонаселение, занимающееся хлебопашеством! Пойдите-ка, поищите в другом месте.

– Так-то так, – обменявшись взглядом с Муляйненом, возразил японец, – да ведь страна-то разорена... сплошное нищенство...

– Как хотите, – холодно проворчал я. – Не нравится – не берите.

– Нет, мы бы взяли, все-таки... Нам она нужна. Вы назовите вашу цену.

Я взял карандаш, придвинул бумагу и стал долго и тщательно высчитывать. Потом поднял от бумаги голову и решительно сказал:

– Десять миллионов.

Оба вскочили и в один голос вскрикнули:

– Десять миллионов?!

– Да. Именно, рублей. Ни пфеннигов, ни франков, а рублей.

– Это сумасшедшая цена.

– Сами вы сумасшедшие! – сердито закричал я. – Этакая страна за десяток миллионов – это почти даром. За эти деньги вы имеете чуть не десяток морей, уйму рек, пути сообщения... Не забывайте, что за эту же цену вы получаете и Сибирь – эту громадную богатейшую страну!

Маркиз Оцупа слушал меня, призадумавшись.

– Хотите пять миллионов?

– Пять миллионов? – рассмеялся я. – Вы бы еще пять рублей предложили! Впрочем, если хотите, я вам за пять рублей отдам другую Россию, только поплоче. В кавычках.

– Нет, – покачал головой Муляйнен. – Эту и за пять копеек не надо. Вот что... хотите семь миллионов – ни копейки больше.

– Очень даже странно, что вы торгуетесь, – обидчиво поежился я. – Покупают то, что самое дорогое для истинного патриота, да еще торгуются!

– Как угодно, – сказал Муляйнен, вставая. – Пойдем, Оцупа.

– Куда же вы? – закричал я. – Пойдите. Я вам, так и быть, миллион сброшу. Да и то не следовало бы – уж очень страна-то хорошая. Я бы всегда на эту цену покупателя нашел... Но для первого знакомства – извольте – миллион сброшу.

– Три сбросьте!

– Держите руку, – сказал я, хлопая по протянутой руке. – Последнее слово, два сбрасываю! За восемь. Идет?

Японец придержал мою руку и сосредоточенно спросил:

– С Польшей и Кавказом?

– С Польшей и Кавказом!

– Покупаем.

Сердце мое отчего-то пребольно сжалось.

– Продано! – вскричал я, искусственным оживлением стараясь замаскировать тяжелое чувство. – Забирайте.

– Как... забирайте? – недоумевающе покосился на меня Оцупа. – Что значит забирайте? Мы платим вам деньги, главным образом, за то, чтобы вы своими фельетонами погубили Россию...

– Да для чего вам это нужно? – удивился я.

– Это уж не ваше дело. Нужно – и нужно. Так – погубите?

– Хорошо, погублю.

III

На другой день поздно вечером к моему дому подъехало несколько подвод, и ломовики – кряхтя, стали таскать в квартиру тяжелые, битком набитые мешки.

Служанка моя присматривала за ними, записывая количество привезенных мешков с золотом и изредка уличая ломовика в том, что он потихоньку пытался засунуть в карман сто или двести тысяч; а я сидел за письменным столом и, быстро строча фельетон, добросовестно губил проданную мною родину...

Теперь – когда я окончил свою искреннюю тяжелую исповедь – у меня легче на сердце. Пусть я бессердечный торгаш, пусть я Иуда-предатель, продавший свою родину... Но ведь – ха-ха! – восемь-то миллиончиков – ха-ха – которые у меня в кармане – не шутка.

И теперь, в ночной тиши, когда я просыпаюсь, терзаемый странными видениями, – передо мной встает и меня пугает только один страшный, кошмарный вопрос:

– Не продешевил ли я?!

Три желудя

Нет ничего бескорыстнее детской дружбы... Если проследить начало ее, ее истоки, то в большинстве случаев наткнешься на самую внешнюю, до смешного пустую причину ее возникновения: или родители ваши были «знакомы домами» и таскали вас, маленьких, друг к другу в гости, или нежная дружба между двумя крохотными человечками возникла просто потому, что жили они на одной улице или учились оба в одной школе, сидели на одной скамейке – и первый же разделенный братски пополам и съеденный кусок колбасы с хлебом посеял в юных сердцах семена самой нежнейшей дружбы.

Фундаментом нашей дружбы – Мотька, Шаша и я – послужили все три обстоятельства: мы жили на одной улице, родители наши были «знакомы домами» (или, как говорят на юге, – «знакомы домамы»); и все трое вкусили горькие корни учения в начальной школе Марьи Антоновны, сидя рядом на длинной скамейке, как желуды на одной дубовой ветке.

У философов и у детей есть одна благородная черта: они не придают значения никаким различиям между людьми – ни социальным, ни умственным, ни внешним. У моего отца была галантерейная лавка (аристократия), Шашин отец работал в порту (плебс, разночинство), а Мотькина мать просто существовала на проценты с грошового капитала (рантье, буржуазия). Умственно Шаша стоял гораздо выше нас с Мотькой, а физически Мотька почитался среди нас – веснушчатых и худосочных – красавцем. Ничему этому мы не придавали значения... Братски воровали незрелые арбузы на баштанах, братски их пожирали и братски же катались потом по земле от нестерпимой желудочной боли.

Купались втроем, избивали мальчишек с соседней улицы втроем, и нас били тоже всех трех – единосущно и нераздельно.

Если в одном из трех наших семейств пеклись пироги – ели все трое, потому что каждый из нас почитал святой обязанностью, с опасностью для собственного фасада и тыла, воровать горячие пироги для всей компании.

У Шашина отца – рыжебородого пьяницы – была прескверная манера лупить своего отпрыска, где бы он его ни настигал; так как около него всегда маячили и мы, то этот прямой демократ бил и нас на совершенно равных основаниях.

Нам и в голову не приходило роптать на это, и отводили мы душу только тогда, когда Шашин отец брел обедать, проходя под железнодорожным мостом, а мы трое стояли на мосту и, свесив головы вниз, заунывно тянули:

Рыжий-красный —
Человек опасный...
Я на солнышке лежал...
Кверху бороду держал...

– Сволочи! – грозил снизу кулаком Шашин отец.

– А ну иди сюда, иди, – грозно говорил Мотька. – Сколько вас нужно на одну руку?

И если рыжий гигант взбирался по левой стороне насыпи, мы, как воробьи, вспархивали и мчались на правую сторону – и наоборот. Что там говорить – дело было беспроектное.

Так счастливо и безмятежно жили мы, росли и развивались до шестнадцати лет.

А в шестнадцать лет, дружно взявшись за руки, подошли мы к краю воронки, называемой жизнью, опасливо заглянули туда, как щепки попали в водоворот, и водоворот закружил нас.

Шаша поступил наборщиком в типографию «Электрическое усердие», Мотю мать отправила в Харьков в какую-то хлебную контору, а я остался непристроенным, хотя отец и мечтал «определить меня на умственные занятия», – что это за штука, я и до сих пор не знаю. При-

знать, от этого сильно пахло писцом в мешанской управе, но, к моему счастью, не оказывалось вакансии в означенном мрачном и скучном учреждении...

С Шашей мы встречались ежедневно, а где был Мотья и что с ним – об этом ходили только туманные слухи, сущность которых сводилась к тому, что он «удачно определился на занятия» и что сделался он таким франтом, что не подступись.

Мотья постепенно сделался объектом нашей товарищеской гордости и лишенных зависти мечтаний возвыситься со временем до него, Мотьяки.

И вдруг получилось сведение, что Мотья должен прибыть в начале апреля из Харькова «в отпуск с сохранением содержания». На последнее усиленно напирала Мотьякина мать, и в этом сохранении видела бедная женщина самый пышный лавр в победном венке завоевателя мира Мотьяки.

В этот день не успели закрыть «Электрическое усердие», как ко мне ворвался Шаша и, сверкая глазами, светясь от восторга, как свечка, сообщил, что уже видели Мотьюку едущим с вокзала и что на голове у него настоящий цилиндр!..

– Такой, говорят, франт, – горделиво закончил Шаша, – такой франт, что пусти-вырвусь.

Эта неопределенная характеристика франтовства разожгла меня так, что я бросил лавку на приказчика, схватил фуражку – и мы помчались к дому блестящего друга нашего.

Мать его встретила нас несколько важно, даже с примесью надменности, но мы впопыхах не заметили этого и, тяжело дыша, первым делом потребовали Мотю... Ответ был самый аристократический:

– Мотя не принимает.

– Как не принимает? – удивились мы. – Чего не принимает?

– Вас принять не может. Он сейчас очень устал. Он сообщит вам, когда сможет принять. Всякой шикарности, всякой респектабельности должны быть границы. Это уже переходило даже те широчайшие границы, которые мы себе начертили.

– Может быть, он нездоров?.. – попытался смягчить удар деликатный Шаша.

– Здоров-то он здоров... Только у него, он говорит, нервы не в порядке... У них в конторе перед праздниками было много работы... Ведь он теперь уже помощник старшего конторщика. Очень на хорошей ноге.

Нога, может быть, была и подлинно хороша, но нас она, признаться, совсем придавила: «нервы, не принимает»...

Возвращались мы, конечно, молча. О шикарном друге, впредь до выяснения, не хотелось говорить. И чувствовали мы себя такими забытыми, такими униженно-жалкими, провинциальными, что хотелось и расплакаться и умереть или, в крайнем случае, найти на улице сто тысяч, которые дали бы и нам шикарную возможность носить цилиндр и «не принимать» – совсем как в романах.

– Ты куда? – спросил Шаша.

– В лавку. Скоро запирать надо. (Боже, какая проза!)

– А ты?

– А я домой... Выпью чаю, поиграю на мандолине и завалюсь спать.

Проза не меньшая! Хе-хе.

На другое утро – было солнечное воскресенье – Мотьякина мать занесла мне записку: «Будьте с Шашей в городском саду к 12 часам. Нам надо немного объясниться и пересмотреть наши отношения. Уважаемый вами Матвей Смелков».

Я надел новый пиджак, вышитую крестиками белую рубашку, зашел за Шашей – и побрели мы со стесненными сердцами на это дружеское свидание, которого мы так жаждали и которого так инстинктивно, панически боялись.

Пришли, конечно, первые. Долго сидели с опущенными головами, руки в карманах. Даже в голову не пришло обидеться, что великолепный друг наш заставляет ждать так долго.

Ах! Он был, действительно, великолепен... На нас надвигалось что-то сверкающее, бряцающее многочисленными брелочками и скрипящее лаком желтых ботинок с перламутровыми пуговицами.

Пришелец из неведомого мира графов, золотой молодежи, карет и дворцов – он был одет в коричневый жакет, белый жилет, какие-то сиреневые брючки, а голова увенчивалась сверкающим на солнце цилиндром, который если и был мал, то размеры его уравнивались огромным галстуком с таким же огромным бриллиантом...

Палка с лошадиной головой обременяла правую аристократическую руку. Левая рука была обтянута перчаткой цвета освежеванного быка. Другая перчатка высывалась из внешнего кармана жакета так, будто грозила нам своим вялым указательным пальцем: «Вот я вас!.. Отнеситесь только без должного уважения к моему носителю».

Когда Мотя приблизился к нам развинченной походкой пресыщенного денди, добродушный Шаша вскочил и, не могши сдержать порыва, простер руки к сиятельному другу:

– Мотья! Вот, брат, здорово!..

– Здравствуйте, здравствуйте, господа, – солидно кивнул головой Мотья и, пожав наши руки, опустил на скамейку...

Мы оба стояли.

– Очень рад видеть вас... Родители здоровы? Ну, слава Богу, приятно, я очень рад.

– Послушай, Мотья... – начал я с робким восторгом в глазах.

– Прежде всего, дорогие друзья, – внушительно и веско сказал Мотья, – мы уже взрослые, и поэтому «Мотьку» я считаю определенным «кель выражансом»... Хе-хе... Не правда ли? Я уже теперь Матвей Семеныч – так меня и на службе зовут, а сам бухгалтер за ручку здоровкается. Жизнь солидная, оборот предприятия два миллиона. Отделение есть даже в Коканде... Вообще, мне бы хотелось пересмотреть в корне наши отношения.

– Пожалуйста, пожалуйста, – пробормотал Шаша. Стоял он, согнувшись, будто свалившимся невидимым бревном ему переломило спину...

Перед тем как положить голову на плаху, я малодушно попытался отодвинуть этот момент.

– Теперь опять стали носить цилиндры? – спросил я с видом человека, которого научные занятия изредка отвлекают от капризов изменчивой моды.

– Да, носят, – снисходительно ответил Матвей Семеныч. – Двенадцать рублей.

– Славные брелочки. Подарки?

– Это еще не все. Часть дома. Все на кольце не помещаются. Часы на камнях, анкер, завод без ключа. Вообще, в большом городе жизнь – хлопотливая вещь. Воротнички «Монополь» только на три дня хватают, маникюр, пикники разные.

Я чувствовал, что Матвею Семенычу тоже не по себе...

Но наконец он решился. Тряхнул головой так, что цилиндр вспрыгнул на макушку, и начал:

– Вот что, господа... Мы с вами уже не маленькие, и вообще, детство – это одно, а когда молодые люди, так совсем другое. Другой, например, до какого-нибудь там высшего общества, до интеллигенции дошел, а другие есть из низших классов, и если бы вы, скажем, увидели в одной карете графа Кочубея рядом с нашей Миронихой, которая, помните, на углу маковники продавала, так вы бы первые смеялись до безумия. Я, конечно, не Кочубей, но у меня есть известное положение, ну, конечно, и у вас есть известное положение, но не такое, а что мы были маленькими вместе, так это мало ли что... Вы сами понимаете, что мы уже друг другу не пара... и... тут, конечно, обижаться нечего – один достиг, другой не достиг... Гм!.. Но, впрочем, если хотите, мы будем изредка встречаться около железнодорожной будки, когда я буду делать прогулку, – все равно там публики нет, и мы будем как свои. Но, конечно, без особенной фамильярности – я этого не люблю. Я, конечно, вхожу в ваше положение – вы меня

любите, вам даже, может быть, обидно, и поверьте... Я со своей стороны... если могу быть чем-нибудь полезен... Гм! Душевно рад.

В этом месте Матвей Семеныч взглянул на свои часы нового золота и заторопился:

– О-ля-ля! Как я заболтался... Семья помещика Гузикова ждет меня на пикник, и если я запоздаю, это будет нонсенс. Желаю здравствовать! Желаю здравствовать! Привет родителям!..

И он ушел, сверкающий и даже немного гнущийся под бременем респектабельности, усталый от повседневного вихря светской жизни.

В этот день мы с Шашей, заброшенные, будничные, лежа на молодой травке железнодорожной насыпи, в первый раз пили водку и в последний раз плакали.

Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем. Это были последние слезы детства. Теперь – засуха.

И чего мы плакали? Что хоронили? Мотька был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча; в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брюках, обвешанный медными брелоками, – он теперь кажется мне смехотворным и ничтожным, как червяк без сердца и мозга, – почему же мы тогда так убивались, потеряв Мотьку?

А ведь – вспомнишь – как мы были одинаковы, – как три желудя на дубовой ветке, – когда сидели на одной скамейке у Марьи Антоновны...

Увы! Желуди-то одинаковы, но когда вырастут из них молодые дубки – из одного дубка делают кафедру для ученого, другой идет на рамку для портрета любимой девушки, а из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого...

Участок

*Того согрей,
Тем свету дай
И всех притом
Благословляй.*

Имеете вы, хоть слабое, представление о функциях расторопной русской полиции?

Попробуйте хоть полчаса посидеть в душной, пропитанной промозглым запахом канцелярии участка. Это так интересно...

...Околоточный надзиратель отрывается от полуисписанной им бумажки, поднимает голову и методически спрашивает:

- Тебе чего?
- Самовар украли, батюшка.
- И твои глаза где же были?

Околоточный прекрасно сознает, что этот вопрос – ни более, ни менее как бесплодная, ненужная попытка хоть на минуту оттянуть исполнение лежащих на нем обязанностей – опрос потерпевшей, составление протокола и розыски похитителя.

– Ты чего ж смотрела?

– То-то, что не смотрела. У лавочку побежала, а он, пес, значит, – шась! Кипяток вылил, угли вытряс – только его и видели.

– «Он», «его»... Почем ты знаешь, что «он»? Может, и «она»!

Кухарка запахивается в платок, утирает указательным пальцем нос и, подумав, соглашается:

- А, может, и она. Аны рази разбирают.
- Подозрение на кого-нибудь имеешь?
- Имею.
- Ну?
- Не иначе, жулик какой-нибудь украл.
- Ты скажешь тоже... Посиди тут, я сейчас все устрою. Вам чего, господин?
- Сырость у меня.
- Где сырость?
- В квартире.
- Ну так что ж?
- Не могу же я, согласитесь сами, в сырой квартире жить?!

Околоточному даже не приходит в голову заявить, что это его не касается, или, в крайнем случае, удивиться, что к нему обращаются с такими пустяками.

Единственная роскошь, которую он себе позволяет, это – хоть на минутку оттянуть исполнение своих обязанностей.

– А вы зачем же сырую квартиру снимали?

– Я снимал не сырую. Я снимал сухую.

– Сухая, а сами говорите – сырая.

– Она потом оказалась сырой, когда уже переехали. Такие пятна по обоям пошли, что хуже географической карты.

Рассматривая недописанную бумажку, околоточный что-то мычит и машинально спрашивает:

- Подозрение на кого-нибудь имеете?
- То есть как это? Я вас не понимаю.

– Гм!.. Я хочу сказать, убытки заявляете?

– Да как же их заявить – если от сырости ревматизм бывает. Иной ревматизм пустяковый, может быть, десять целковых стоит, а иной, как защемит – его и в тысячу рублей не уберешь.

Тоскливое молчание.

– А вы чего ж смотрели, когда нанимали?

– Говорю ж вам – тогда сырости не было.

– Хорошо... Адрес? Зайду. Наведу справки и... Вам чего?..

– Господин околоточный! Вы не можете себе представить – я за последнее время все нервы себе истрепала. Буквально все нервы.

Вероятно, эта выше средних лет дама истрепала нервы не более, чем околоточный, потому что он хватается за недописанную бумажку, потом за голову и осведомляется:

– Подозрение на кого-нибудь имеете?

– Буквально все нервы. Как только наступает ночь – прямо хоть беги из квартиры.

– А что такое?

– Привидения. Все в один голос так говорят, что привидения. Кто-то стучит, ходит, роняет вещи, разговаривает, а ровно в полночь раздается вдруг в стене такой вой и плач, что мы все с ума сходим.

– Как же вы так допустили до этого?

– Да мы-то что же... Мы тут ни при чем.

– Подозрение на кого-нибудь имеете?

– Никакого подозрения. Я убеждена, что это что-нибудь загадочное. Ходит, роняет вещи и разговаривает.

– Сколько же их душ?

– Кого?

– Вот этих... призраков?! Приведений?

– А почему я знаю. Вероятно, одно.

– Но вы говорите – он разговаривает. Не может же он сам с собой разговаривать?

– А я не знаю. Вам лучше знать – может он или не может.

Околоточный обладает чрезвычайно скудным запасом сведений из жизни обитателей потустороннего мира; но, как представитель власти, не хочет ударить лицом в грязь и поэтому говорит чрезвычайно уверенно:

– Не может. Не иначе, как с соучастником. Ну, хорошо. Успокойтесь, сударыня. Мы разберем это дело, и виновные понесут заслуженное наказание. Ваш адрес? Имею честь кла... Ты чего тут топчешься?

– Мать старуха померла.

– Подозрение на ко... Гм! Ну, и царство ей небесное. От чего померла?

– Бог-ё знает. Ей уж годов сто будет. Три года как не ставала. Теперь померла.

– А ты чего же смотрел? – тосливо в сотый раз мямлит околоточный. – Ну, ладно. Подожди, сейчас. Вам что угодно? Потрудитесь снять котелок. Осторожнее, вы рукой в чернильницу попали. Что вам угодно?

– Скучно мне, господин околоточный.

– А вы бы меньше пили, так и не было бы скучно.

– Чудак человек, а отчего же я пью? От скуки ж!

– Вы что ж... заявление какое пришли сделать? Прошу на меня не дышать!

– Пришел. Заявление. Заявлю вам, как представителю власти, что мне скучно! Почему нет никаких увеселений?

– Идите домой спать. Вот вам и увеселение.

– Вы думаете? Не желаю. Я хочу жить полной жизнью. Конечно, вы можете меня прогнать, но – куда же мне пойти? Если я пришел сюда, значит, больше некуда. Ах, г. околоточный! Русский человек носит в себе особую тоску.

– Будьте добры не мешать мне.

– Куда же я пойду? Чрезвычайно хочется каких-нибудь увеселений.

– Ну... пойдите в кинематограф. Часа через два откроется.

– Мерси! Вот видите – дельный совет. Я знал, куда иду! Начальство – оно распорядится!

Разрешите посидеть тут на диванчике, подождать открытия.

– Сидите. Только не шумите. Вам что, господин?

– Жена от меня ушла. Нельзя ли...

– А вы чего же смотрели?

– Ах, да разве за ними усмотришь? Спрашивается, чего ей не доставало?

– Да... Женщины народ загадочный. Все ищут такого, чего и на свете нет. Престранная публика. Подозрение на кого-нибудь имеете?

– Тут даже и подозрения никакого нет; сбежала со штабс-капитаном Перцовым.

– А вы чего же смотрели?

– А вот вы спросите. Приятелем моим считался, на бильярде вместе играли и – на тебе!..

Подсел.

– Да-а... В семейной жизни всегда нужно быть начеку, – говорит устало околоточный, закуривая папиросу. – Можно вам предложить? Семейная жизнь – это, как говорится, осажденная крепость. Женщины любят все романтическое, а мужья ходят по утрам простоволосые, в расхристанной рубашке и туфлях на босу ногу. А женщина лакированный ботфорт любит. Нравственная глубина не так ее интересует, как приятный блеск внеш... Тебе чего?

– Ну, вы еще заняты, так я себе немножечко, ваше благородие, подожду. Таки каждый человек должен ожидать, когда их высокоблагородие заняты. Вы уж, пожалуйста, не кричите...

– Да ты по какому делу?

– Маленькое себе дело. К моей жене заехала из Варшавы на минуточку свояченица, ну, так она имеет варшавское правожительство. Я говорю господину паспортисту...

– Хорошо. Зайдешь к трем часам, когда посвободнее будет. Вам чего, барышня? Не плачьте.

– Можно так делать? Говорил: «Люблю, люблю», а теперь вытянул все, обобрал и ушел...

Оставил в чем мать родила.

– Кто такой?

– Приказчик от «Обонгу». Прямо-таки оставил в чем мать родила.

– А вы чего же смотрели?

– Так если он говорил, что любит. Божился, крестился, землю ел. А теперь что я?... В чем мать родила!

Это не более как поэтическая метафора, потому что огромная шляпа на голове девицы никогда не позволила бы ей появиться в таком виде на этот горестный свет.

– Хорошо, – говорит околоточный. – Вы где в него влюбились? В нашем участке? Будьте покойны, – мы примем меры!

Пишущий эти строки долго сидит на потертом деревянном диванчике и любит этим калейдоскопом кухарок, квартирантов, привидений, пьяных и обманутых мужей.

И вот, выждав свободную минуту, я встаю с диванчика и подхожу к обессиленному, отупевшему околоточному.

– Вам что угодно?

– Темы нет, г. околоточный.

– Какой темы?

– Для рассказа.

– А вы чего же смотр... Да я-то тут при чем, скажите пожалуйста?!

– Как при чем? Вы – полиция. Если привидения, пьяные и обманутые мужья вам «при чем», то и тема вам «при чем».

Околоточный трет голову.

– Вам тему?

– Тему.

– Для рассказа?

– Для рассказа.

– Гм... Подозрения ни на к... Ах ты, Господи! Ну, мало ли тем... Ну, опишите, например, участок, посетителей. Вот вам и тема.

– Ну, вот и спасибо. Опишу. Я ведь знал, что если вы обязаны смотреть за всем, то обязаны смотреть и за темами. Прощайте!

Вот – написал.

Юмор для дураков

Это был солидный господин с легкой склонностью к полноте, с лицом, на котором отражались уверенность в себе и спокойствие, с глазами немного сонными, с манерами, полными достоинства, и с голосом, в котором изредка прорывались ласково-покровительственные нотки.

– Вот вы писатель, – сказал он мне, познакомившись. – Писатель-юморист... Так. Наверное, знаете много смешного. Да?..

– О, помилуйте... – скромно возразил я.

– Нечего там скромничать. Расскажите мне какую-нибудь смешную штуку... Я это ужасно люблю.

– Позвольте... Что вы называете «смешной штукой»?

– Ну, что-нибудь такое... юмористическое, Я думаю, вы не ударите лицом в грязь. Слава Богу – специалист, кажется! Ну, ну... не скромничайте!

– Видите ли... Я бы мог просто порекомендовать вам прочесть книгу моих рассказов. Но, конечно, не ручаюсь, что вы непременно наткнетесь в них на «смешные штуки».

– Да нет, нет! Вы мне расскажите! Мне хочется послушать, как вы рассказываете... Ну, что-нибудь коротенькое. Вот, наверное, за бока схватишься!..

Я незаметно пожал плечами и неохотно сказал:

– Ну, слушайте... Мать послала маленького сына за гулякой-отцом, который удрал в трактир. Сын вернулся один, без отца – и на вопрос матери: «Где же отец и что он там делает?» – ответил: «Я его видел в трактире... Он сидит там с пеной у рта». – «Сердится, что ли?» – «Нет, ему подали новую кружку пива».

Не скажу, чтобы эта «смешная штучка» была особенно блестящей. Но на какой-нибудь знак внимания со стороны моего нового знакомого я все-таки мог надеяться. Он мог бы засмеяться, или просто безмолвно усмехнуться, или даже, в крайнем случае, покачать одобрительно головой.

Нет. Он поднял на меня ясные, немного сонные глаза и поощрительно спросил:

– Ну?

– Что «ну»?

– Что же дальше?

– Да это все.

– Что же отец... вернулся домой?

– Да это не важно. Вернулся – не вернулся... Все дело в ответе мальчика.

– А что, вы говорите, он ответил?

– Он ответил: отец сидит там с пеной у рта.

– Ну?

– Видите ли... Соль этого анекдота, сочиненного мною, заключается в том, что мальчик ответил то, что называется, – буквально. Он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной: «Отец сидит с пеной у рта». А мать думала, что это – фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило.

– Фигуральное?

– Да.

– Взбесило?

– Да!

– Ну?

– Что еще такое – «ну»?

– Значит, мать думала, что отец за что-нибудь сердится, а он вовсе не сердится, а просто пьет себе преспокойно пиво.

– Ну да.

– Вот-то ловко! Ха-ха! Ну и здорово же: она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится... Хо-хо! Вообще, знаете, эти трактиры.

– Что-о?..

– Я говорю – трактиры. Еще если холостой человек ходит, так ничего, а уж женатому, да если еще нет средств, – так трудновато... Не до трактиров тут. Тут говорится: не до жиру, быть бы живу.

Я молчал, глядя на него сурово, с замкнутым видом.

Человек он был, очевидно, вежливый, понимавший, что в благодарность за рассказанное – автор имеет право на некоторое поощрение.

Поэтому он принялся смеяться:

– Ха-ха-ха! Уморил! Ей-Богу, уморил. Папа, говорит, в трактире пену пьет, сердится... А мать-то, мать-то! В каких дурах... О-ох-хо-хо! Ну, еще что-нибудь расскажите.

«Э, милый, – подумал я. – Тебя такой вещью не проберешь. Тебе нужно что-нибудь потолще».

– Ну, я вас прошу, расскажите еще что-нибудь...

– Ладно. В один ресторан пришел посетитель. Оставив в передней свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку: «Владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов... Попробуйте-ка украсть зонтик!» Пообедав, владелец зонтика вышел в переднюю и – что же он видит! Зонтик исчез, а на том месте, где он стоял, приколотая записка: «Я пробегаю в час пятнадцать верст – попробуйте-ка догнать!»

Любитель «смешных штучек» поощрительно взглянул на меня и сказал:

– Ну и что же? Догнал он похитителя или нет?

Я вздохнул и начал терпеливо:

– Нет, он его не догнал. Да тут и не важно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьёзном совпадении этих двух записок. Автор первой, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки, и никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее.

– Важнее?

– Да.

– Сколько он там написал, что пробежит в час?

– Пятнадцать верст.

– Это много считается?

– Порядочно.

– А ведь поймай этот первый-то владелец зонтика – похитителя в то время, как тот писал записку, он бы ему задал перцу, а? Тут и ноги не помогут, а?

– Не знаю.

– Это, наверное, было давно, я думаю? В прежнее время? Теперь-то ведь в передних ресторанах всюду швейцары, которые и отвечают за пропажу вещей.

– Да.

– Теперь все как-то сделалось культурнее. Положим, раньше-то и воровства было меньше. А?

– Да.

Мы помолчали.

– Вопрос еще, догнал ли бы он похитителя, если бы даже и умел бегать быстрее его. Потому что раньше нужно узнать, в какую сторону он побежал, да не свернул ли с дороги, а

то мог просто припрятать зонтик, да и отпереться от всего: «Знать не знаю, ведать не ведаю – никакого зонтика не воровал и никакой записки не писал».

– Да.

По моим сухим, сердитым репликам любитель анекдотов почувал, что я им не совсем доволен, и, решив, по своему обыкновению, щедро вознаградить меня смехом, – неожиданно захохотал.

– Ха-ха! Ох-хо-хо! Ну и уморил. Выходит он – где зонтик? Хвать-похвать, а зонтика-то и нет. Ну и ловкие ребята бывают! Прямо-таки пальца в рот не клади. И откуда вы столько смешных штучек знаете? Ну, расскажите еще что-нибудь. Ну, пожалуйста, ну, миленький...

– Рассказать? – прищурился я. – Извольте! Один господин, явившись на обед к родителям своей невесты и страдая от тесной обуви, снял потихоньку под столом с ноги башмак, но в это время собачонка схватила башмак да бежать, а жених испугался, вскочил, опрокинул стол, причем миска с горячим супом опрокинулась на тещу, и помчался за собачонкой. По дороге он разбил дорожную вазу, а потом, желая достать для разутой ноги какой-нибудь башмак, ударил тестя ногой в живот, повалил его и стал стаскивать с ноги ботинок. Но оказалось, что у тестя одна нога была искусственная, и вдруг она отрывается вместе с ботинком, и наш жених грохается на пол, обрывая портьеру; но в это время собачонка, с башмаком во рту...

Дальше я не мог продолжать: нечеловеческий страшный хохот душил моего нового знакомого. Он буквально катался по дивану, отмахиваясь руками, ногами, задыхаясь и кашляя. Лицо побагровело, и на глазах выступили слезы.

– О-ох, – визжал он тонким голосом. – Довольно. Ради Бога, довольно! Вы меня убьете вашим рассказом!..

* * *

Раньше я не понимал: для чего и кому нужны десятки тысяч метров кинематографических лент, на которых изображены: солдат, попавший в барабан и заснувший там; рассеянный прохожий, опрокидывающий на своем пути детские колясочки, влюбленные парочки; свадебный обед, участникам которого шутник насыпает за ворот «порошок для чесания»; молодой человек, которого кусает блоха во время объяснения с невестой и который начинает бегать по комнате, ловя эту блоху; пьяный, залезший в матрац и катающийся в таком положении по людной улице – для чего и кому все это нужно? – я не понимал.

Теперь – понимаю.

Желтая пресса

Сам он розовый, пиджак на нем серый, галстук красный, а пресса, в которой он работает, желтая.

О себе он говорит всегда искренно и веско:

– Я выколачиваю денежки на бульваре, чтоб его черти побрали!

– На каком бульваре?

– Газетка наша бульварная. Не понимаю, как публика читает такую мерзость...

– А что?

– Да ведь ее, газетку эту, составляют каторжники. Вы не верите? Ей-богу! Любой сотрудник способен на шантаж, воровство, а если вы гарантируете ему безопасность, то и на убийство. Редактор мошенник.

– Ну, да!

– Без сомнения.

– Зачем же вы там работаете?

– Работа легкая. Пиши о чем хочешь, измышляй что угодно и получай денежки. Ей-богу!

Я недоверчиво спросил:

– Неужели можно измыслить что угодно?

– Уверю вас. Ну что вы, например, хотите, чтобы было у вас завтра в газете?

Я рассмеялся.

– Напишите, что я очень люблю устриц.

– Хорошо! Устрицы – так устрицы.

На другой день я прочел, к своему удивлению, в газете, в которой работал розовый молодой человек, следующее:

«Анкета. Являются ли устрицы полезным блюдом?

Ввиду свирепствующей теперь эпидемии холеры мы занялись вопросом, не вредны ли в этом смысле устрицы. С этим вопросом мы и обратились к доктору Копытову.

– Видите ли, – сказал симпатичный медик, – в сущности, устрицы являются полезным, питательным блюдом, но, конечно, неумеренное их употребление может привести к нежелательным последствиям.

Спрошенная по этому поводу популярная певица И. О. Смяткина сказала следующее:

– Не знаю. Я не ем устриц. Несколько раз меня хотели приучить к ним, но, увы, безнадежно.

И. О. засмеялась.

После поездки в Мариенбад И. О. очень поправилась и выглядит прекрасно.

– Ну, как за границей? – спросили мы.

Она улыбнулась.

– Да ничего.

Третьим, к кому мы обратились с интересовавшим нас вопросом, был редактор сатирического журнала г. Аверченко.

– Устрицы! – воскликнул г. Аверченко. – Я очень люблю их. Едва ли они могут быть вредными. Конечно, я говорю о свежих устрицах.

– Ну, как цензура?... Прижимает? – спросили мы редактора.

Он усмехнулся.

– Еще как!»

При встрече со мной розовый молодой человек засмеялся, пожал мне руку и спросил:

– Читали?

– Однако! Неужели вы беседовали по этому вопросу и с доктором Копытовым и с певицей Смяткиной?

– Ребенок! Доктор живет на Васильевском Острове, а дача Смяткиной в Новой Деревне. Одни извозчики стоили бы мне 2 р.

– А... как же вы?..

– Да ничего. Сам. Им же лучше. Все-таки реклама. И я свое заработал. Спасибо вам за устрицы. Хотите, еще что-нибудь сделаем?

– Нет, благодарю вас. А скажите, – спросил я, – вы с действительными происшествиями так делаете?

– Нет... Там нужно быть лично. Вы свободны сейчас?

– Да, а что?

– Тут один человечек застрелился. Я поеду взглянуть. Хотите взглянуть со мной?

Мы поехали.

Застрелившийся «человечек» лежал на столе, но я интересовался не им, а розовым молодым человеком...

К нам вышла женщина средних лет, с ввалившимися глазами и смертельно бледным лицом.

– А, здравствуйте! Позвольте представиться: сотрудник петербургских газет. А это такой знакомый. Очень приятно! Ну, как поживаете?

Женщина вынула платок из кармана и, отвернувшись, прошептала:

– Как видите. Единственный сын был. Вся надежда. Да не выдержало молодое сердце.

– Гм... Действительно... Бывает... Записочку оставил?

– Мне... письмо «Дорогой маме»...

– Так, так. Можно полюбопытствовать?

– На что?

– На письмецо. Я отдам потом.

– Что-о вы! Это моя самая святая теперь вещь.

– Самая святая. Ага!

Молодой человек вынул записную книжку и отметил: «Самая святая, сказала нам мать».

– Благодарю вас. Еще вопросик. Когда вы вбежали в комнату, – застали сынка в агонии или как?

Мать закрыла лицо руками.

– Мертвый уже был.

– Значит, агонии уже не застали. Экая жалость! А какая система?

– Чего?

– Револьвера.

– Не заметила я. Не до того было...

– Да, скажите, гм... вам, конечно, очень жалко покойника?

– Сына-то?

– Да, да... сына... конечно. Я это понимаю. Ну, а скажите: у вас осталось еще немного детей?

Я вскочил и схватил за руку розового молодого человека.

– Пойдем отсюда!

– Сейчас, сейчас. А позвольте полюбопытствовать, сударыня: а кухарка не видала агонии вашего сына?

– Извините... мне тяжело говорить об этом.

– А-а, спасибо. Гм... Делает вам честь.

Он положил на колено записную книжку и отметил:

«Мать убита горем. Тяжелые воспоминания. Система неизвестна».

– Еще вопросик: вы очень удивились в первый момент, когда застали его лежащим на полу вместо постели?

Я схватил его за руку и потащил.

В тот же вечер он повез меня в театр на премьеру пьесы, о которой ему предстояло дать рецензию... Когда мы приехали, только что кончился четвертый акт и оставался пятый.

– Посмотрим пятый? – спросил я.

– Не стоит. С кем это вы раскланялись?

– Знакомый. А что?

– Спросите его, как пьеса.

Я подошел к знакомому и вступил с ним в разговор.

Тут же, в фойе, в одном шаге от нас стал розовый молодой человек и с видом скучающего ротодея принялся рассматривать витрину с портретами актеров.

– Пьеса? Как вам сказать... Пьеса из тех, которые принято называть «сценичными». Фабула бессодержательная, но автор опытен, и это его спасает. И сюжет стар. Акробаты благотворительности, об этом еще Григорович писал. Декорации хорошие, а постановка неважная... Очень интересна была в роли Евгении Баранская... Остальные так себе. Положим, но первому спектаклю нельзя судить...

Со стороны фотографической витрины до меня донесся шепот.

– Спросите, вызывали ли автора.

– А автора вызывали? – спросил я.

– Он не был в театре. Нездоров, что ли. Простуда, кажется.

Розовый молодой человек неожиданно обернулся ко мне и сказал:

– Ну, я поеду. Еще в редакцию нужно успеть. Прощайте!

На другое утро в той же самой газете, где была анкета об устрицах, я прочел рецензию о новой пьесе.

«Еще популярный писатель Григорович касался наболевшего вопроса об «акробатах благотворительности», этих фальшивых, исковерканных ложью и ханжеством людях. Ту же тему положил в основание пьесы и автор «Сливок общества». Правда, сюжет не нов, но сценическая опытность и знание театральных вкусов публики спасли на этот раз произведение автора. Разыграна пьеса была, за исключением г-жи Баранской, давшей цельный искренний образ, очень, как говорится, «так себе». Хотя все старались, не исключая и суфлера. Впрочем, по первому спектаклю нельзя судить... Постановка нам не понравилась. Что это сделалось с режиссером Агеевым? Спасли положение декорации, действительно прекрасные, с большим вкусом. Публика пыталась вызвать автора, но— увы, его в театре не было. Тяжелая форма гастрита приковала талантливого автора «Сливок» к постели. Ах, уж этот петербургский климат!»

Золотой век

По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал ему так:

– Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.

Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой – он всегда делал несколько дел сразу – и отвечал:

– Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.

– Я не «многий», – скромно возразил я. – Василиев, чтоб они были Максимычами и в то же время Кандыбинами – встретишь, брат, не каждый день.

Это очень редкая комбинация!

– Ты давно пишешь? – спросил Стремглавов.

– Что... пишу?

– Ну, вообще, – сочиняешь!

– Да я ничего и не сочиняю.

– Ага! Значит – другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?

– У меня нет слуха, – откровенно сознался я.

– На что слуха?

– Чтобы быть этим вот... как ты его там назвал?... Музыкантом...

– Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.

Так как я не интересовался живописью, то не мог упомянуть всех русских художников, о чем Стремглавову и заявил, добавив:

– Я умею рисовать метки для белья.

– Не надо. На сцене играл?

– Играл. Но когда я начинал объясняться героине в любви, у меня получался такой тон, будто бы я требую за переноску рояля на водку.

Антрепренер и сказал, что лучше уж пусть я на самом деле таскаю на спине рояли. И выгнал меня.

– И ты все-таки хочешь стать знаменитостью?

– Хочу. Не забывай, что я умею рисовать метки!

Стремглавов почесал затылок и сразу же сделал несколько дел: взял спичку, откусил половину, завернул ее в бумажку, бросил в корзину, вынул часы и, засвистав, сказал:

– Хорошо. Придется сделать тебя знаменитостью. Отчасти, знаешь, даже хорошо, что ты мешаешь Рубенса с Робинзоном Крузо и таскаешь на спине рояли, – это придает тебе оттенок непосредственности.

Он дружески похлопал меня по плечу и обещал сделать все, что от него зависит.

На другой день я увидел в двух газетах в отделе «Новости» такую странную строку: «Здоровье Кандыбина поправляется».

– Послушай, Стремглавов, – спросил я, приехав к нему, – почему мое здоровье поправляется? Я и не был болен.

– Это так надо, – сказал Стремглавов. – Первое известие, которое сообщается о тебе, должно быть благоприятным... Публика любит, когда кто-нибудь поправляется.

– А она знает – кто такой Кандыбин?

– Нет. Но она теперь уже заинтересовалась твоим здоровьем, и все будут при встречах сообщать друг другу: «А здоровье Кандыбина поправляется».

– А если тот спросит: «Какого Кандыбина?»

– Не спросит. Тот скажет только: «Да? А я думал, что ему хуже».

- Стремглавов! Ведь они сейчас же и забудут обо мне!
- Забудут. А я завтра пушу еще такую заметку: «В здоровье нашего маститого...» Ты чем хочешь быть: писателем? художником?..
- Можно писателем.
- «В здоровье нашего маститого писателя Кандыбина наступило временное ухудшение. Вчера он съел только одну котлетку и два яйца всмятку. Температура 39,7».
- А портрета еще не нужно?
- Рано. Ты меня извини, я должен сейчас ехать давать заметку о котлете.
- И он, озабоченный, убежал.
- Я с лихорадочным любопытством следил за своей новой жизнью.
- Поправлялся я медленно, но верно. Температура падала, количество котлет, нашедших приют в моем желудке, все увеличивалось, а яйца я рисковал уже съесть не только всмятку, но и вкрутую.
- Наконец, я не только выздоровел, но даже пустился в авантюры.
- «Вчера, – писала одна газета, – на вокзале произошло печальное столкновение, которое может окончиться дуэлью. Известный Кандыбин, возмущенный резким отзывом капитана в отставке о русской литературе, дал последнему пощечину. Противники обменялись карточками».
- Этот инцидент вызвал в газетах шум.
- Некоторые писали, что я должен отказаться от всякой дуэли, так как в пощечине не было состава оскорбления, и что общество должно беречь русские таланты, находящиеся в расцвете сил.
- Одна газета говорила: «Вечная история Пушкина и Дантеса повторяется в нашей полной несообразностей стране. Скоро, вероятно, Кандыбин подставит свой лоб под пулю какого-то капитана Ч*. И мы спрашиваем – справедливо ли это? С одной стороны – Кандыбин, с другой – какой-то никому не ведомый капитан Ч*».
- «Мы уверены, – писала другая газета, – что друзья Кандыбина не допустят его до дуэли».
- Большое впечатление произвело известие, что Стремглавов (ближайший друг писателя) дал клятву, в случае несчастного исхода дуэли, драться самому с капитаном Ч*.
- Ко мне заезжали репортеры.
- Скажите, – спросили они, – что побудило вас дать капитану пощечину?
- Да ведь вы читали, – сказал я. – Он резко отзывался о русской литературе. Наглец сказал, что Айвазовский был бездарным писакой.
- Но ведь Айвазовский – художник! – изумленно воскликнул репортер.
- Все равно. Великие имена должны быть святыней, – строго отвечал я.
- Сегодня я узнал, что капитан Ч* позорно отказался от дуэли, а я уезжаю в Ялту.
- При встрече со Стремглавовым я спросил его:
- Что, я тебе надоел, что ты меня сплаваешь?
- Это надо. Пусть публика немного отдохнет от тебя. И потом, это шикарно: «Кандыбин едет в Ялту, надеясь окончить среди чудной природы юга большую, начатую им вещь».
- А какую вещь я начал?
- Драму «Грани смерти».
- Антрепренеры не будут просить ее для постановки?
- Конечно, будут. Ты скажешь, что, закончив, остался ею недоволен и сжег три акта. Для публики это канальски эффектно!
- Через неделю я узнал, что в Ялте со мной случилось несчастье: взбираясь по горной круче, я упал в долину и вывихнул себе ногу. Опять началась длинная и утомительная история с сидением на куриных котлетках и яйцах.

Потом я выздоровел и для чего-то поехал в Рим... Дальнейшие мои поступки страдали полным отсутствием всякой последовательности и логики.

В Ницце я купил виллу, но не остался в ней жить, а отправился в Бретань кончать комедию «На заре жизни». Пожар моего дома уничтожил рукопись, и поэтому (совершенно идиотский поступок) я приобрел клочок земли под Нюрнбергом.

Мне так надоело бессмысленные мытарства по белу свету и непроизводительная трата денег, что я отправился к Стремглавову и категорически заявил:

– Надоело! Хочу, чтобы юбилей.

– Какой юбилей?

– Двадцатипятилетний.

– Много. Ты всего-то три месяца в Петербурге. Хочешь десятилетний?

– Ладно, – сказал я. – Хорошо проработанные десять лет дороже бессмысленно прожитых двадцати пяти.

– Ты рассуждаешь, как Толстой, – восхищенно вскричал Стремглавов.

– Даже лучше. Потому что я о Толстом ничего не знаю, а он обо мне узнает.

Сегодня справлял десятилетний юбилей своей литературной и научно-просветительной деятельности...

На торжественном обеде один маститый литератор (не знаю его фамилии) сказал речь:

– Вас приветствовали как носителя идеалов молодежи, как певца родной скорби и нищеты, – я же скажу только два слова, но которые рвутся из самой глубины наших душ: здравствуй, Кандыбин!!

– А, здравствуйте, – приветливо отвечал я, польщенный. – Как вы поживаете?

Все целовали меня.

Андреев Леонид

Фальшивый рубль и добрый дядя

Это был ужасно добрый дядя: видеть не мог, когда кто-нибудь плачет или огорчается, или чего-нибудь хочет: сейчас же поможет. Такой был добрый дядя, что ни одна тетя не может быть добрее. Вот раз пошел он на пароходную пристань на Неве, чтобы переехать на другую сторону, стоит себе, ждет парохода и всех ласково рассматривает. И вдруг видит маленького плачущего мальчика: стоит маленький мальчик и плачет, катятся слезы по лицу, и каждая слеза такой величины, что можно сразу наполнить ведро. Обеспокоился добрый дядя и спрашивает:

– О чем ты, мальчик, так горько плачешь?

И ответил мальчик, продолжая плакать:

– Вот о чем я плачу, добрый дядя: дал мне старший брат рубль, чтобы я на ту сторону домой поехал, а рубль-то оказался фальшивым. И никто его не берет, и должен я теперь погибнуть, если вы меня не спасете.

Подумал-подумал добрый дядя и сказал:

– Решил я тебя, мальчик, спасти, и вот тебе настоящий серебряный рубль, бери его, не бойся. Мне же отдай твой фальшивый рубль, каковой я постараюсь сбыть, если на то будет воля Провидения, видевшего мою доброту.

Так они и поменялись: мальчик взял настоящий рубль, а доброму дяде дал фальшивый. И поехал мальчик на ту сторону домой, а добрый дядя зашел в лавочку и сказал:

– Дайте мне, пожалуйста, десяток папирос в шесть копеек.

И дал ему лавочник десяток папирос, а дядя в обмен вручил фальшивый рубль, думая с некоторым опасением, что сейчас лавочник закричит «караул!» и позовет городского. Но лавочник был стар, глух и слеп и вообще совсем дурак: взял фальшивый рубль за настоящий и дал доброму дяде девяносто четыре копейки сдачи. И пошел дядя, куда ему надо было, и всю дорогу радовался своей доброте, и со слезами в душе благословлял мудрое Провидение.

Нравоучение для фальшивомонетчиков. Когда нужно сбыть фальшивый целковый, то не давайте его ребенку, а дайте доброму дяде: он сбудет.

Искренний смех

Только раз в жизни я так смеялся. Это не была та натянутая улыбка, с которой мы выслушиваем анекдоты друзей и в морщинках смеха вокруг глаз прячем не веселье, а неловкость и даже стыд; это не был даже смех сангвиника продолжительный, раскатисто-свободный грохот, которому завидуют прохожие и соседи по вагону; это был хохот, властно овладевший не только лицом, но и всем моим телом. Он полчаса душил меня и бил, как в коклюше, он выворачивал меня наизнанку, бросал на траву, на постель, выворачивал руки и ноги, сокращая мускулы в таких жестоких судорогах, что окружающие уже начали опасаться за мою жизнь. Чуждый притворства, искренний до глубины души, – это был тот редкий и счастливый смех, который оставляет светлый след на всю вашу жизнь и в самой глубокой старости, когда все уже пережито, похоронено, забыто, – вызывает отраженную улыбку.

Смешной случай, о котором я хочу рассказать, произошел очень давно. Десятки лет проползли над моей головой и стерли с нее все волосы, но уже ни разу я так не смеялся – ни разу! – хотя вовсе не принадлежу к числу людей мрачных, по самой природе своей не отзывчивых на смешное. Есть такие люди, и мне их душевно жаль. Так как искренний чистый и приятный смех, даже только веселая, но искренняя улыбка составляют одно из украшений жизни, быть может, даже наивысшую ценность ее.

Нет, я совсем другой, я веселый человек! Я люблю юмористические журналы, остроумную карикатуру и крепко просоленный, как голландская селедка, анекдот; бываю в театре легкой комедии и даже не прочь заглянуть в кинематограф: там попадают не лишённые юмора вещицы.

Но увы! Тщетно ищу я на людях и в книге тот мой прекрасный, единственный, до глубины души искренний смех, который, как солнце за спиной, озаряет до сих пор мой нелегкий путь среди колдобин и оврагов жизни, – его нет. И так же бесплодно ищу я счастливой комбинации всех тех условий, какие в тот памятный день соединились в искусный узел комического.

Конечно, я смеюсь, было бы неправдой сказать другое, но нет уже искренности в моем смехе. А что такое смех без искренности? – это гримаса, это только маска смеха, кощунственная в своем наглom стремлении подделать жизнь и самое правду. Не знаю, как отнесетесь вы, но меня оскорбляет череп с его традиционной, костяной усмешкой – ведь это же ложь, он не смеется, ему вовсе не над чем смеяться, не таково его положение.

Даже неискренние слезы как-то допустимее, нежели неискренний смех (обращали ли вы внимание, что самая плохая актриса на сцене плачет очень недурно, а для хорошего смеха на той же сцене нужен уже исключительный талант?). А как могу я искренно смеяться, если меня заранее предупреждают: вот это анекдот – смейтесь! Вот это юмористический журнал – хохочите на весь гривенник! Я улыбаюсь, так как знаю приличия; иногда, если этого требуют настойчиво, произношу: ха-ха-ха, и даже гляжу на незнакомого соседа, как бы и его привлекая к общему веселью, но в глазах моих притворство, а в душе скорбь. О, тогда, в то утро, мне и в голову не приходило посмотреть на соседа, – я и до сих пор не знаю, смеялся ли кто-нибудь еще, кроме меня!

Если бы они, желающие насмешить, еще умели как-нибудь скрывать свои намерения. Но нет: как придворные шуты добрых старых времен, они издали предупреждают о прибытии своими погремушками, и я уже заранее улыбаюсь – а что значит заранее улыбаться? Это то же, что и заранее умереть или сойти заранее с ума – как же это возможно! Пусть бы они замаскировывали как-нибудь свои шутки: принесли, например, гробы, или что-нибудь в этом роде, и, только что я испугался, вдруг в гробу оказывается смешное, например, живой поросенок или что-нибудь другое в этом роде, – тогда я еще засмеялся бы, пожалуй!

А так, как делается – нет, не могу!

Случай, о котором я рассказываю и который сейчас, при одном только воспоминании, вызывает у меня неудержимый хохот, не представляет собою, как увидите, что-либо исключительное. Да это и не нужно. Все исключительное поражает ум, а от ума идет смех холодный и не совсем искренний, ибо ум всегда двуличен; для искреннего смеха необходимо что-нибудь совсем простое, ясное, как день, бесхитростное, как палец, но палец, поставленный в условия высшего комизма.

Ни элементов холодной сатиры, ни игры слов, претендующей на остроумие, ни морали – и это самое главное! – не найдете вы в «моем случае», и только потому, быть может, «мой случай» так невероятно смешон, так полно захватывает вас и отдает во власть искреннейшему смеху. И еще одна важная особенность моего смешного случая: рассказан он может быть в нескольких словах, но представлять его вы можете бесконечно, и с каждым разом ваше представление будет все ярче, и смех все неудержимее и полнее.

Я знаю, что некоторые, в начале даже не улыбнувшись при моем рассказе, под конец изнемогали от смеха и даже заболели; и уже не рады были, что услышали, но забыть не могли. Есть какая-то особенная назойливость в этом комическом случае, – жаловались они: он лезет в голову, садится на память, как та всемирно известная муха, которую нельзя согнать с носа, щекочет где-то под языком, вызывая даже слюнотечение; думаешь отделаться от него, рассказав знакомому, но чем больше рассказываешь, тем больше хочется – ужасно!

Но предисловие, я вижу, разрослось больше, чем следует, перехожу прямо к рассказу. В коротких словах дело в следующем...

Впрочем, еще одна оговорка: я умышленно избегаю многословия, так как в таких случаях одно лишнее, даже неудачное слово может только ослабить впечатление глубоко-комического и придать всему рассказу характер все той же неприятной нарочитости.

Нет, дело было очень просто.

Моя бабушка, идя по садовой дорожке, наткнулась на протянутую веревку и упала носом прямо в песок. И дело в том, что веревку протянул я сам!

Да. Мало смеха в жизни, и так редко встречается случай искренно посмеяться!

Негодяй

У хорошего мальчика Пети была очень хорошая мама, которая постоянно его учила и образовывала. И жили они в большом доме, а во дворе гуляли гуси и куры: куры несли им яички, а гусей они кушали. И, кроме того, жил еще во дворе маленький теленок, которого все любили и в шутку звали Васенькой, и этот теленок рос для того, чтобы сделать из него для хорошего мальчика Пети котлетки.

Вот раз мама и повела Петю на скотный двор и стала его учить. Говорила так:

– Видишь, Петенька, какой хороший теленок, – погладь его.

И Петенька его погладил, а теленок-то и рад, думает: дай, кстати, молочка себе попрошу. Что ж! и молочка ему дали.

– Вот, смотри, Петенька, – учила мама, – теперь он молочко пьет, а потом мы из него котлетки тебе сделаем, если ты будешь хороший и послушный.

Петечка же шаркнул ножкой и сказал:

– Благодарю моих наставников и родителей за их неусыпные обо мне заботы. Но я хотел бы знать, дорогая мама, из какого места в теленочке делаются котлетки?

Тогда мама очень обрадовалась, что сын у нее такой любознательный и умный, и начала ручкой на теленке показывать:

– Смотри, Петенька, и запоминай: вот из этого места, что под ребрышком, мы сделаем тебе котлетки с косточкой, – ты любишь котлетки с косточкой?

– Я люблю все то, дорогая мама, что ты даешь мне по твоей доброте, – ответил Петечка.

А глупый теленок слушал их и думал очень глупо, по-телячьи: «Боже мой, что они такое говорят, ведь мне становится прямо-таки страшно».

Поцеловала мама своего Петечку и так продолжала его учить:

– А вот из этого местечка мы сделаем тебе рубленые котлеточки. А из его язычка, – покажи нам, теленок, твой язычок, – мы сделаем холодное с хреном; а из мозгов и ножек мы сделаем заливное, а из...

Но Петя перебил ее и сказал:

– Я знаю, дорогая мама: из хвостика мы сделаем кнудик.

Мама засмеялась и похвалила Петечку, что он так умен, и они пошли домой пить чай с коровкиным молочком. А глупый теленок Васенька так напугался от этого разговора, что весь трясется и думает глупо, по-телячьи: «Боже мой, кажется, они хотят меня съесть, и это прямо-таки ужасно! Нет, лучше убегу я в лес и там спасусь».

Но тут проснулась в нем совесть и говорит ему твердым голосом:

– Какой же ты негодяй! Из тебя должны сделать для хорошего мальчика Пети котлеточки, а ты хочешь убежать: это прямо-таки подло.

Но не послушался Васенька голоса совести своей, порвал веревку и убежал в лес: спасись, дурачок, думал. А в лесу-то, – а в лесу-то волки-то его и съели! Ага! – волки-то его и съели. Рассчитывал, негодяй, спасись, а про волков-то и забыл!

Нравоучение для телят. Негодяй! Не бегай, тебя все равно съедят волки.

Орешек

Жила-была в зеленом лесу прехорошенькая белочка, и все ее любили. И летом белочка была рыженькая, а зимою, когда вокруг все белело, и она одевалась во все белое – такая модница и красавица! И зубки у белочки были беленькие, остренькие, чудесные грызуночки, коловшие орехи, как щипцами. Но, к несчастью, белочка была благоразумна, – да, да, благоразумна! – и вот что из этого вышло, какое горе, какое несчастье: в зеленом лесу до сих пор все плачут, когда вспоминают эту печальную историю.

Пролетал над лесом ангел с белыми крылами и увидел он белочку своими зоркими глазами, и так она ангелу понравилась, что решил он сделать белочке подарок: полетел в райские сады и сорвал там золотой орешек, какие бывают только на Рождество на елке, и принес его белке-беляночке.

– Вот тебе орешек, милая беляночка, – сказал ангел, – скушай его, пожалуйста, он прямо из райского сада.

– Благодарю вас, – вежливо ответила белочка, – я его потом скушаю, когда вы улетите.

Ангел доверчиво улетел, а белочка стала размышлять, и вот что она придумала: «Ну хорошо, ну съем я орешек, а дальше что? Нет, лучше спрячу-ка я этот райский орешек, а когда придет в моей жизни черный день и трудно мне станет добывать пищу, тогда я орешек и скушаю: всегда нужно быть благоразумным, нерасточительным и бережливым».

Так прошло много лет и много зим, и не раз белочка соблазнялась золотым орешком и даже плакала от аппетита, но кушать все-таки не стала – да, да, не стала! Но вот наступили в белочкиной жизни и черные дни: состарилась она, ножки скрючило от ревматизма, головка дрожит от слабости, и уж не греет беленькая шубка, потерявшая, облезлая, скверная-прескверная.

– Вот когда я орешек-то скушаю, – сказала старушка-белочка, томимая голодом, и достала из-под сухих листьев свое сокровище. Взяла в лапки и полюбовалась. Полюбовалась и в ротик положила, в ротик положила – а разгрызть-то и не могла: зубок-то уж не было у белочки – да, да, не было!

Пролетал над белым лесом ангел с белыми крылами и видит: лежит под деревом, лежит под большим деревом мертвая белочка-старушка в облезлой шубке, а в лапочках у нее золотой орешек, орешек из райского сада.

Нравоучение. Когда дают тебе, Коля, орешек, то тут же ты его и кушай.

Ослы

Часть 1

Знаменитый Энрико Спаргетти по справедливости считался любимцем богов и людей. Сильный и прекрасный собою, он обладал чарующим голосом, несравненным *bel canto*, и уже при первом выступлении своим затмил всех других известных певцов и получил прозвище Орфея; а к тридцати годам жизни его слава распространилась по всему Старому и Новому Свету, от солнцепламенного Рио-Жанейро до холодных гиперборейских стран.

Родители его были людьми простого звания и жили в бедности, но Энрико божественным даром своим приобрел неисчислимые богатства и сделался другом многих весьма высокопоставленных особ: английских пэров, немецких графов и даже тогдашнего владетельного принца Монако. И многие философы, чуждые дешевых обольщений, вступали в близость с великим певцом, стремясь разгадать тайну его необыкновенного дарования, живописцы же и скульпторы соревновались друг с другом в изображении и увековечении его прекрасной головы и лица, в чертах которого явственно виделась печать избранничества. Излишне упоминать, что и женщины всего света дарили его своей благосклонностью, порой доходившей до неистовства ничем не сдерживаемой страсти; но, будучи человеком благоразумным и больше всего любя свое искусство, Энрико часто оставлял без ответа их неосторожные домогательства и сумел, наряду с турецким многоженством, сохранить всю прелесть и удобства холостой жизни. Многочисленные дети, бывшие плодом этих случайных любовных связей, не оставлялись им, однако, без попечения и богато содержались в пансионах Парижа, Лондона, Петербурга, Нью-Йорка и других городов.

В ту пору, когда подвизался Энрико Спаргетти, еще не были изобретены граммофоны, и мы не имеем возможности хотя бы отдаленно судить о свойствах и силе его голоса, но в мемуарах современников и тогдашних журналах находим многочисленные указания на то, что голос этот обладал обольстительностью, превосходившей всякое вероятие, и казался принадлежащим всемогущему чародею.

Рассказывают, что тысячи собравшихся, слушая Энрико, теряли всякую волю над собою и покорно переходили, послушные чародею, от горьких слез к неудержимому смеху, от отчаяния к ослепительному восторгу и почти безумному экстазу. Первым же звуком своего голоса, возносящимся к небу на крыльях свободного вдохновения, он подчинял себе самую непокорную душу и вел за собою человека, как поводырь слепца или магнит железные опилки; правда, многие гордецы пытались сопротивляться таинственным чарам, но еще не было случая, чтобы такое сопротивление увенчивалось успехом и несчастный не становился самым горячим поклонником Энрико Спаргетти.

Так, передают, что один государственный муж, великий в своей области, создатель царств и железных легионов, но совершенно равнодушный к музыке и красоте, долго не соглашался послушать Спаргетти, уверяя, что он немедленно при первых же звуках заснет в своем кресле, как некогда засыпал под пение няньки.

– За бочонком вина и под аккомпанемент барабана – пожалуй, я готов его послушать и даже могу и сам подтянуть, как бывало на наших студенческих пирушках; но эти трели и пиано... извините, я слишком занят! – сердито отвечал он приближенным, которые уговаривали его посетить концерт приехавшего певца.

И что же оказалось? Приглашенный в свою ложу царственной особой и не смея отказаться от приглашения, равного приказу, великий муж не только не заснул, но впал в состоя-

ние, близкое к экстазу и потере сознания. Красный от восторга, он так выразился по окончании концерта в беседе с царственной особой:

– Ваше величество! Если бы мне дать такой голос, я без единой капли крови завоевал бы и сложил к вашим стопам Францию, Австрию и Великобританию. Одним я спел бы: марш за мной! другим я спел бы: вы мною покорены! Смирно! – и дело было бы в шляпе с позволения вашего величества. Должен признаться, что это сильнее штыка и даже – сильнее пушки!

А Энрико, награжденный высоким знаком отличия, поехал дальше, всюду сея очарование и не видя границ своей чудодейственной власти. Ибо то, о чем только грезил государственный муж, уже отчасти сбылось с великим певцом, однажды имевшим случай испытать свою власть над грубой толпой. Это было в Лондоне, в одном из его темных и опасных кварталов, куда Энрико один, без спутников, пробирався на свидание: внезапно окруженный толпой грабителей, угрожавших его жизни, он пением заставил их отказаться от своего преступного намерения и, продолжая петь, довел их, как рачительная бонна ведет послушных детей, до самых ворот полицейского участка, куда и сдал их немых от восхищения и неожиданности.

Вполне естественно, что при таких условиях Энрико Спаргетти проникся верою в свою сверхъестественную мощь и порою, глядя на себя в зеркало, не на шутку задумывался о своем божественном происхождении.

Часть 2

Как и все певцы, не имеющие времени для литературных занятий, Энрико долгое время совсем не знал, кто такой Орфей, именем которого часто называли его поклонники и журналы; и однажды он обратился с вопросом по этому поводу к своему секретарю и другу, Гонорию ди-Виетри:

– Скажи мне, кто был этот Орфей, имя которого я так часто слышу, как похвалу? Мне это надоело. Когда он жил? И неужели этот тенор был настолько лучше меня, что меня украшают его именем? Я в этом сильно сомневаюсь.

Почтенный и высокообразованный Гонорий в ответ рассказал певцу миф об Орфее, который своей песней чаровал леса, скалы и диких зверей пустыни.

– Деревья, – повествовал Гонорий, – привлекаемые силою прелестных звуков, толпились вокруг певца и давали ему тень и прохладу; очарованные скалы теснились к нему; птицы лесные оставляли свою чащу, а звери – свои трупы и тихо и кротко внимали сладким песням Орфея...

– Так это сказка! – со вздохом облегчения сказал гордый певец. – Ну, а как же окончил Орфей свою жизнь?

– Очень дурно, Энрико, – отвечал Гонорий, – он был безучастен к женщинам, которых привлекал своими песнями, и за это был насмерть растерзан фракиянками. Берегись, Энрико!

Певец засмеялся: – Да, в этом мы похожи, и я также буду когда-нибудь растерзан. А скажи, мой друг, этот Орфей мог бы покорить того графа, который дал мне орден?

– Мог бы, я полагаю.

– А мог бы он пением привести грабителей в полицию?

– Также мог бы, я думаю. Но ведь это сказка, а ты живешь, и тебе не в чем завидовать ему, несравненный.

Энрико задумался и, помедлив, сказал:

– Да, я живу. А хочешь, я завтра утром выйду на площадь и подниму восстание в Италии?

– Не сомневаюсь, что ты можешь это сделать, – ответил осторожный и расчетливый Гонорий ди-Виетри, – но не знаю, что ты дальше будешь делать с восставшими. Чтобы ими управлять, ты должен будешь петь непрерывно, днем и ночью, а это едва ли выдержит твое здоровье!

Оба посмеялись шутке, и на том и окончился их разговор. Но самолюбивый и гордый Энрико не мог примириться с тем, что, хоть и сказочный, Орфей стоит во мнении людей выше его, и, снова слыша его имя, произносимое в похвалу, каждый раз чувствовал как бы укол в самое сердце. Если бы еще он мог хоть раз услышать пение Орфея и сравнить голоса и манеру! Очень возможно, что это сравнение указало бы преувеличенность славы Орфея и рассеяло предассудок, от которого теперь он должен так несправедливо страдать. Но скалы, которые теснились к певцу? Конечно, скалы – это глупость, о которой не стоит говорить, но птицы и звери? Правда, теперешние птицы напуганы человеком и не так доверчивы, как были тогдашние; да и зверей теперь можно найти только в зверинцах – но все же?

Уже совсем позабыл о разговоре занятый делами Гонорий, когда певец неожиданно спросил его, по привычке руководиться его знаниями и советами:

– Послушай... а этот Орфей мог своим пением укрощать и увлекать домашних животных? Например, коров, собак и кур.

Гонорий подумал и ответил осторожно:

– Я не знаю, существовали ли тогда домашние животные, которых ты перечислил, но если существовали, то, конечно, и их Орфей очаровывал своим пением. Но ведь это сказка, Энрико, и ты напрасно так много об этом думаешь.

– Мне все равно, сказка это или нет! – сердито ответил певец. – Но мне это раз и навсегда надоело. Чтобы я никогда больше не слышал об этом Орфее, о котором столько лгут!

Испуганный секретарь поспешно согласился, но это лишь по виду успокоило взволнованного и оскорбленного певца. И чем выше были его успехи, чем больше несла ему судьба цветов, денег, любви и поклонения, тем ненавистнее становился лживый образ непревзойденного Орфея, чаровавшего не только людей, но и животных. Здоровье знаменитого певца заметно портилось, и часто удивленные и испуганные поклонницы не знали, чему можно приписать внезапные вспышки гнева и раздражения, с каким встречал несчастный Энрико их нежные взгляды, цветы и лобзания. А он, хмурый и печальный, скупно отвечая на поцелуй горячих и душистых губ, думал в отчаянии: «Ах, если бы ты была корова, очарованная мною! А теперь чего стоит твое поклонение? Ничего».

Наконец терпение Энрико истощилось, и в один знаменательный день он сухо сказал своему секретарю Гонорию ди-Виетри:

– Слушай меня и, пожалуйста, не возражай и не спорь. Это мое решение. Я хочу доказать Орфею и его поклонникам, что я, Энрико Спаргетти, могу сделать не меньше, чем он, и что мой дар очарования не ограничивается только людьми. К следующему воскресенью собери в моем загородном саду три или четыре дюжины ослов...

– Ослов! – воскликнул изумленный и ужаснувшийся Гонорий, но певец гневно топнул ногой и закричал на высоких нотах своего прекрасного голоса:

– Ну да, ослов! Ослов, я говорю тебе! Если ты и тебе подобные понимают меня, то почему ты смеешь думать, что и ослы не поймут! Они очень музыкальны.

Гонорий почтительно склонил голову:

– Твое желание будет исполнено, несравненный. Но я первый раз слышу, чтобы ослы были музыкальны – наоборот: и пословицы, и опыт народов учит нас, что животные этой породы совершенно лишены слуха и критического чутья. Так, в басне о соловье...

– А ты сам очень любишь вульгарного соловья? – возразил певец и добавил: – Оставь, Гонорий, эту жалкую клевету на ослов, в которой, как я убежден, столько же преувеличения и неправды, как и в славе этого проклятого Орфея. Несчастье ослов не в том, что они лишены голоса, но не слуха и потребности в пении; самая их потребность кричать, которая обходится им так дорого и придает их крику сильно драматический характер, свидетельствует о их глубокой музыкальности. Кого они слышат в своей жизни? Только погонщиков, голос которых груб и отвратителен. И ты увидишь, мой друг, что будет с ними, когда их слуха коснется мой

вдохновенный голос: я им спою все то, что я пел бразильскому императору, графу, грабителям и английской королеве.

Напрасны были уговоры трусливого и благоразумного Гонория: непоколебимо веря в свою чародейскую мощь и всемогущество, Энрико ничего не хотел слушать и под конец даже поколебал самого секретаря: быть может, Энрико и прав, – думал последний, отправляясь нанимать ослов, – и в этих животных не все еще погасло для искусства, сила же Энрико воистину безгранична!

Уверенный в своем торжестве, Энрико пожелал придать состязанию особую пышность и велел пригласить синдика и многих других почетных лиц города, не считая обычного состава поклонниц и поклонников, которые были неизбежны и появлялись во всякий момент, как только раскрывал он рот для пения. Но первые три ряда кресел он, с надлежащим извинением перед почтенными гостями, предоставил ослам, желая иметь их непосредственно перед своими глазами, остальным же слушателям оставил боковые и задние места.

Одно только обстоятельство несколько удивило и даже огорчило славного певца: оказалось, что за каждого приглашенного осла его собственнику надо платить от трех до пяти лир. Это был первый случай из жизни Энрико, когда не публика ему платила, а он платил публике; но здесь его успокоил Гонорий, сказав, что – это недорого сравнительно с обычными ценами на первые места в его концертах; и, молитвенно вздохнув, добавил:

– А если ты победишь в состязании, в чем я теперь не сомневаюсь, я с полным правом подниму плату на следующие твои концерты, и, таким образом, ты останешься в выгоде. Главное – победить!

– А в этом уже положились на меня, – ответил Энрико, смеясь и почти любовно думая об ослах, еще не подозревающих, какое ждет их наслаждение.

Часть 3

Тем временем, пока рабочие спешно строили в саду певца эстраду для приглашенных и раковину для самого артиста и призванные декораторы украшали все это гирляндами цветов, флагами и фонариками, пока весь город взволнованно говорил о дерзкой затее гениального Спаргетти и спорил, разбившись на партии, об исходе состязания, – сам Энрико и озабоченный Гонорий каждый делали свое дело.

Поколебленный в традиционном взгляде на ослов, но все еще окончательно не уверенный, Гонорий ди-Виетри принимал все возможные меры к тому, чтобы хоть несколько приготовить этих непривычных слушателей к предстоящему удовольствию; решив затратить даже лишние деньги, он уже три дня выдерживал ослов в саду, перед раковиной, чтобы приучить их к обстановке, и старательно оберегал их от всего волнующего, печального и раздражающего, способного нарушить их столь необходимое душевное равновесие. В справедливом предположении, что, будучи сыты, осла приобретут большую способность к сосредоточению и вниманию, он усиленно питал их и даже по совету врача тайно примешивал в их пищу значительные дозы брома и других успокоительных лекарств.

Усилия его увенчались успехом, и к воскресенью хорошенькие, тщательно вычищенные ослики с их маленькими детскими ножками и задумчивыми, даже печальными глазами, наполнили скорее группу превращенных ангелов, нежели упрямых и грубых животных; одолеваемые бромом и сытостью, они почти перестали и кричать, и лишь при восходе солнца, на рассвете воскресного дня, два или три ослика с мучительными потугами выразили громкий привет лучезарному светилу, разбудив и слегка напугав чутко дремавшего Гонория.

Со своей стороны, Энрико Спаргетти тщательно приготовил и обдумал то, что в противоположность утилитарным заботам Гонория можно было назвать «духовною пищею» для ослов. Перебрав весь свой богатый репертуар, артист остановился на таком подборе песен: для пер-

вого отделения – нечто лирическое, любовно-мечтательное и задумчивое, погружающее душу как бы в некий волшебный и нежно печальный сон.

Для второго, после краткого антракта, – каскад веселых и ликующих звуков, игривых песенок, капризных трелей, как бы знаменующих восхождение солнца после лунной ночи и щебетание птиц; и, наконец, для третьего, решительного – трагический взрыв страсти, вопли жизни, побеждаемой смертью, томление вечных разлук, любви безнадежной и горькой... нечто такое, над чем может зарыдать и камень! И если скалы, приходившие к Орфею, еще не потеряли окончательно способности к передвижению, они придут, чтобы вместе со всеми приветствовать победоносного певца!

Наступило воскресенье. Концерт был назначен днем, и весеннее солнце ослепительно сияло, когда приглашенные заняли свои места, восхищаясь сказочною красотой сада и с трепетом ожидая появления на эстраде своего кумира, Энрико Спаргетти.

Первые четыре ряда, предназначенные для ослов, были превращены в маленькие изящные стойлища, обитые красным бархатом; и когда животные, украшенные пучками лент и высокими перьями, заняли свои места, остальная публика встретила их шепотом восхищения; кроткие и задумчивые, со своей мышшиной блестящей шерстью, отливавшей серебром под лучами солнца, они были прекрасны! На всякий случай, дабы кто-нибудь из ослов не выскочил раньше, они были привязаны к своим местам толстыми шелковыми шнурами.

И вот – при громе аплодисментов показался на эстраде Энрико Спаргетти, несколько бледный, несколько взволнованный, но решительный и прекрасный в своей смелости; как он рассказывал потом, даже перед императорами он не испытывал такого волнения, как в этот раз. Обычным низким поклоном ответив на приветствия, он с легкой насмешливостью, оцененной журналистами, послал несколько воздушных поцелуев ослам и, сделав бесстрастное лицо, приказал аккомпаниатору начинать.

И все смолкло.

При первых же звуках чарующего голоса, превратившего все земное в небесное, слушатели были покорены и совершенно забыли об ослах, ранее вызывавших такое тревожное любопытство; и когда кончилась первая песенка, за нею вторая и третья, никто и не заметил, с какою трогательной задумчивостью, с каким глубоким вниманием слушали певца осла. Но Энрико и Гонорий торжествовали, переглядываясь, и Энрико даже шепнул аккомпаниатору значительно:

– Это – победа!..

– *Si, signor...* – ответил аккомпаниатор восторженно и покорно.

Надо думать, что молчание ослов обуславливалось скорее какими-то их собственными соображениями, нежели прелестью и очарованием звуков, ибо при четвертом, как раз наиболее трогательном романсе, два осла сразу взревели, – в начале, как всегда, беспомощно захлебываясь и стеная, в середине возвышая голос почти до раскатов пророческого крика и кончая теми же беспомощными и страдальческими выдохами. Крик этот был настолько неожиданный, что задние ряды, забывшись, закричали: «Тише!», а Энрико, бледный, но вежливый, сделал аккомпаниатору знак переждать и дать г. г. ослам откричаться.

Но лишь только Энрико снова открыл рот, уже не два, а десять, двадцать ослов нестройно взревели, путаясь в голосах друг друга и своими громовыми раскатами покрывая не только нежнейшее пианиссимо певца, но и самые его отчаянные форте. Напрасно расстроенный Энрико повышал голос и вкладывал всю силу выразительности в свою изящную мимику – лишь моментами, в случайные порывы ослиного крика улавливало ухо его божественные трели, рыдания и слезы: уже все четыре дюжины ослов, взаимно заражаясь, мрачно ревели, как в последний день земли.

Так при гробовом молчании оскорбленных поклонников и замирающем ослином вопле закончилось первое неудачное отделение.

– Это же невозможно! – говорил в уборной Энрико, в слезах припадая на грудь также потрясенного Гонория. – У меня чуть не лопнули голосовые связки! Хоть ты?то слышал меня? Я себя не слышал!..

– Конечно, я слышал тебя, мой бедный друг. Но я говорил же тебе, что ослы...

– Ах, оставь! – воскликнул Энрико. – Но почему они начинают выть как раз тогда, когда я открываю рот, и умолкают вместе со мною? Ты слышишь: сейчас они тихи, как ангелы. Отчего это?

Гонорий нерешительно ответил:

– Да, молчат. По-видимому, на них все-таки действует твое пение, и как только ты...

– Но ведь это же глупо! Ведь так они ничего не могут слышать! Ах, Гонорий, а ведь над этой песенкой рыдал сам император бразильский! – горестно восклицал певец, роняя крупные алмазные слезы. – А как я для них старался! Я сам – сам! – плакал для этих ослов, чего не делал даже для английской королевы... Нет, я их проберу: долой лирику – я дам им драму, и тогда мы увидим. Я их перекричу!

– Пожалей голос, Энрико, я умоляю тебя! – плакал Гонорий, поддерживаемый рыдающим аккомпаниатором:

– Пожалейте, синьор!

– А Орфей жалел? Нет, я их перекричу! Я их перереву, если с ними нельзя иначе. Звонок!

При могильном молчании людей и ослов началось второе отделение: и люди казались взволнованными и утомленными, а ослы свежими и спокойными, как будто они только что искупались. Но и в этот раз все усилия Энрико оказались бесплодными; дружно взревев при первых же нотах, ослы поднялись почти до пафоса, и трудно было понять, откуда столько дикой мощи в этих маленьких ангелоподобных животных! Они ревели, как горная лавина, и напрасно, бегая по сцене, поднимаясь на носки и краснея от натуги, старался перекричать их божественный певец – слушателям был виден только его открытый рот, безмолвный, как колодец. Пользуясь минутным затишьем, Энрико прокричал аккомпаниатору:

– Посмотри на того, с левого края: он все время молчит!

– Si, signor.

– Он будет моим первым учеником! Начинай!

– Si, signor.

И снова дружно заревели ослы и, – о ужас! – к ним присоединился и тот, кого Энрико в тщетной надежде приутоживал в свои первые ученики; более того: именно он оказался тем воистину несравненным по мощности горлодером, который сделал дальнейшее состязание невозможным без опасности для жизни и здоровья присутствующих. Полный свежих сил и бодрости, он, шутя, покрывал голос уже охрипшего Энрико в то время, как остальной хор мучительно терзался и захлебывался, а через цветы и кресла уже пробирались погонщики с палками и дубинами, ведомые что-то кричащим Гонорием.

Так печально окончилось состязание Энрико Спаргетти с Орфеем, и молчаливо разъехались приглашенные, когда Энрико сказал едва слышно ужаснувшемуся секретарю:

– Гонорий, пригласи доктора. Кажется, я сорвал голос.

Эпилог

К счастью, тревога оказалась ложною и через месяц утомленный голос знаменитого певца восстановился до прежнего блеска и силы. В то же время, благодаря стараниям Гонория, самому случаю было придано лестное для певца толкование, и журналы вполне согласно объяснили непрерывный рев ослов именно тем, что они были восхищены и покорены чарующим bel canto великого артиста. И прозвище Орфея утвердилось за ним навсегда.

Сам же Энрико говорил, улыбаясь, что ослы хороши для перевозки тяжести и других работ, но как слушатели оставляют желать многого, и безумен тот, кто захочет перекричать осла.

Так он шутил с друзьями, прекрасный и сияющий. И никто не знал, даже Гонорий, что душа его всю остальную жизнь страдала от обиды и что вид мирного ослика, трудолюбиво везущего повозку, вызывал в нем дрожь и чувство, близкое к паническому страху.

Правила добра

1

Кто не любит добра?

Случилось так, что некий здоровенный пожилой черт, по тамошнему прозвищу Носач, вдруг возлюбил добро. В молодости своей, как и все черти, он увлекался пакостничеством, но с годами вступил в разум и почувствовал святое недовольство. Хотя по природе он был чертом крепкого здоровья, но излишества несколько пошатнули его, и пакостничать уже больше не хотелось; склонность же к порядку – добродетель, весьма распространенная среди чертей, – твердый, положительный, хотя несколько и туповатый ум, некая беспредметная тоска, особенно овладевавшая им по праздникам, и, наконец, неимение опоры в семье и детях, так как Носач остался холостяком, – постепенно поколебали его убеждение, будто ад и адские порядки есть окончательное воплощение разума в бессмертную жизнь. Он с жадностью искал работы, чтобы отвлечься от своих тяжелых сомнений, и перепробовал ряд профессий, прежде чем надолго и окончательно не устроился при одной маленькой католической церкви во Флоренции в качестве соблазителя. Тут он, выражаясь его словами, отдохнул душой; и тут же, по времени, было положено начало его новой подвижнической жизни.

Церковь была маленькая, и работы Носачу представлялось немного. От мелких пакостей, на которые так склонны юные черти, как-то: задувание восковых свечей, подставление ножки псаломщику и нашептывание молящимся старухам беспричинных гадостей, он уклонялся, чувствуя скуку, серьезное же дело не наворачивалось. Молящиеся все были люди скромные, тихие и дьявольским наветам поддавались туго: ни золотом, которого они не видали, ни огневой любовью, которой они не знали никогда, ни гордыми мечтаниями высокого честолюбия, совершенно чуждого их непритязательной жизни, не удавалось Носачу поколебать мир и тишину их неглубоких душ. Пустяковые же грехи они охотно творили сами, и не было у черта ни надобности, ни охоты даром тратить воображение на приискивание новых, тем более что круг маленьких грехов весьма ограничен. Пытался он первоначально ввергнуть в бездну соблазна самого попа, но и тут потерпел естественную неудачу: поп был старенький, беззубый, наполовину впавший в детство – и, как дитя, невинный. Если черту и удавалось во время богослужения вышибить у попа из памяти необходимые слова и заменить их неподходящими и даже соблазнительными; если удавалось обкормить попику кашей или заставить проспаться утреннюю мессу, – то и в этом был только внешний, формальный грех, а грех настоящий отсутствовал: разницу между тем и другим прекрасно чувствовал прирожденный черт. И малопомалу в свои прямые обязанности соблазителя он начал вносить равнодушие и холод формализма: наскоро расскажет старухе неприличный анекдот, плюнет раза два-три в угол, заставит попику каждый раз в одном и том же месте перепутать слова, и поскорее усядется на свое излюбленное место в тени колонны – по украденному молитвеннику внимательно следит за службой.

Такое времяпровождение, хотя и приятное, было, однако, враждебно деятельной натуре пожилого черта: и, незаметно для себя, он втянулся в обиход церковный, разделил интересы домоправительства, стал чем-то вроде второго сверхштатного сторожа. По утрам подметал церковь и чистил медные ручки, во время службы поправлял лампы и вместе с верующими гнусаво подтягивал клиру: «Ora pro nobis». И, входя в церковь снаружи, он уже привычным жестом окунал лапу в кропильницу со святой водой и кропил себя, а когда все шли под благословение, то шел и он, слегка толкаясь, по своей грубоватой дьявольской привычке. В редкие свои посещения ада, куда он являлся, как и все черти, с фальшивыми докладами. Носач все

больше и больше преисполнялся отвращением к его шуму, гвалту, грязи и дикой неразберихе. Визгливые ведьмы, которым в свое время он отдал полную дань восторга, ныне преисполняли его чувством омерзения; и не одной из них со своею былою ловкостью он прищемил хвост в дверях, радуясь страху и мучениям несчастной.

И так как все непрерывно лгали, и каждое слово каждого было ложью, и сатана лгал впереди всех и за всех, то начинала, с непривычки, болеть голова, и скорее хотелось на воздух.

После одной из таких побывок Носач с особым удовольствием вернулся в тихую церковь и двое суток, как убитый, спал за колонной; проснувшись же, принял видимость и решительно направился к попикам в исповедальню: был именно тот час, когда верующие исповедывались.

Попик очень удивился, что незнакомый пожилой господин с тщательно выбритым, сухим лицом, имевшим постное и даже мрачное выражение благодаря огромному отвислому носу и резким складкам вокруг тонких губ, есть самый настоящий черт. Но когда Носач клятвенно подтвердил свое заявление, стал с детским любопытством расспрашивать его об адских делах. Но черт только отмахивался рукой и угрюмо ворчал:

– Ах, и не говорите, святой отец, это – не жизнь, а чистый ад.

– А где же твои рога? – спрашивал поп. – И где же твои копыта? И ты зачем ко мне пришел: соблазнить меня хочешь или покаяться? Если соблазнить, то напрасно, – меня, сударь, соблазнить нельзя.

Попик засмеялся и похлопал его по плечу.

– А кашу помните? – угрюмо спросил черт.

– Какую кашу? – удивился попик.

– А на той неделе, в субботу, помните? Вы еще много съели, помните?

Попик заволновался:

– Так это ты мне? А-й-ай-ай-ай-ай! Поди прочь! Поди прочь отсюда, не хочу тебя и видеть! Надевай свои рога и уходи, а то сторожа позову.

– Я покаяться пришел, а вы меня гоните! – уныло сказал черт. – Аще, сказано, одну заблудшую овцу...

– Так ты и Евангелие знаешь! – удивился старичок.

Черт строго и гордо ответил:

– Проэкзаменуйте.

– Так, так, так! Ты, значит, серьезно, – а?

– Проэкзаменуйте.

– Ну, и удивил же ты меня... не знаю, как тебя назвать, ах, удивил. Пойдем же ко мне, я тебя поэкзаменую: тут тебе пока не место. Скажите, пожалуйста, черт, а Евангелие знает!.. Пойдем! Пойдем!

И целый вечер у себя на дому попик экзаменовал Носача и восторженно удивлялся:

– Да ты богослов! Ей-богу, богослов. Ты занимался, что ли, этими вопросами?

– Занимался-таки, – скромно подтвердил черт.

Вообще хотя он держался и скромно, но с большим достоинством, не лебезил, не забегал вперед, и сразу видно было, что это – черт строгий и положительный. Своими огромными познаниями он нисколько не кичился и все больше и больше нравился добродушному старому попикам.

– Так чего же ты хочешь? – спросил поп.

Черт с размаху бухнул на колени и завопил:

– Святой отец, разрешите и научите меня творить добрые дела! Стосковался я о добре, святой отец. Жить не могу без добра, а как его творить, еще не ведаю. От сатаны же и от дел его отрекаюсь вовеки: тьфу, тьфу, тьфу!

Когда волнение поулеглось, попик благодушно похлопал черта по плечу, для чего ему пришлось приподняться на цыпочки: Носач чуть не вдвое был выше ростом. От прикосновения

черт устранился, – он не любил фамильярного обращения, – и с угрюмостью, составлявшей главную черту его характера, настойчиво спросил:

– Так как же, святой отец, научите?

– Добру-то? Можно. Это можно? Но только знаешь ли ты творения святых отцов? В библии ты силен, но этого, дружок, пожалуй, маловато. Да, маловато! Иди-ка погуляй, а я тебе вечером составлю списочек: что читать.

Черт уже выходил, когда попик, с любопытством глядевший на его широкую спину, остановил его вопросом:

– Послушай, милейший: ты всегда это носишь?..

– Одежду?

– Нет, все это, – попик неопределенно очертил рукою фигуру дьявола, – вот у тебя нос этакой грушей... у тебя всегда так? И лицо у тебя очень постное, как будто ты мало кушаешь, и одежда у тебя черная... Мне это нравится, но всегда у тебя так, или же ты имеешь и другой вид? Если имеешь, то покажи, пожалуйста: я хоть и стар, а чертей еще никогда не видал.

Дьявол мрачно солгал:

– Другого вида не имею.

– Нет? Ну, что ж поделаешь: нет, так и нет. Иди же погуляй, а я поработаю. Хоть я давеча и сказал тебе комплименты, что ты богослов, но ты еще мало... попик значительно поднял палец, – очень еще мало знаешь. Да!

– А про добро узнаю? Мне главное про добро узнать.

Попик успокоительно сказал:

– Про все узнаешь. Столько книг прочесть, да не узнать: какой ты, брат, мнительный!

Два года сидел черт над книгами и мучительно доискивался: что есть добро и как его делать так, чтобы не вышло зла. С древнееврейским языком черт и раньше был хорошо знаком, а теперь изучил еще и греческий: все читал в подлиннике, сверял, отыскивал ошибки, доселе ускользавшие от общего внимания, не без остроумия и даже убедительности создавал новые богословские схемы, впадая в несомненную ересь. Совсем измучился и даже похудел, но ответа на свой вопрос так-таки найти не мог и впал под конец в отчаяние. Два года терпел, ничего, а тут так вдруг загорелось и так страшно стало, что пошел к попу среди ночи и разбудил его: помогите!

– Ну, говори, несчастный, что такое у тебя случилось?

– Да то и случилось, что прочел я все ваши книги, а как допрежде не знал добра, так и теперь не знаю. Жить мне тошно, святой отец, и тьма ночная пугает!

– Да все ли ты прочел? Ой, не пропустил ли чего? Тороплив ты, сударь.

– Сейчас последнюю кончил. Умен я, святой отец, вот в чем мое горе: ум у меня дьявольский, тонкий, не терпящий противоречия: и раньше я других на противоречиях ловил, а теперь вот и сам попался!

Попик укоризненно покачал головою.

– Мудрствуешь?

– То-то и беда, что мудрствую. Вон у добрых людей, рассказывают, голос такой есть внутренний, указующий пути добра, а какой может быть у дьявола голос? Только от ума и действует дьявол. А как начал я с умом читать эти ваши книги, так только одни противоречия и вижу: и то можно и другое можно, и того нельзя и другого нельзя. Вот хочу я для начала земной моей жизни вступить с хорошей женщиной в брак и совместно с нею творить добро, а как начитался ваших книг, так и не знаю теперь: добро есть брак или зло.

– Могий вместити...

– Вместить-то я много могу, да не знаю, что вмещать. Вот вы, святой отец, безбрачны, и в этом даже ваша святость, а патриархи не хуже вас были, а жен имели даже по несколько. И не будь бы в браке святые отцы Иоаким и Анна, то не было бы у них дочери...

Попик даже испугался и замахал рукой отчаянно:

– Молчи, молчи, грешник! С тобой и говорить опасно, – того и гляди, сам в ересь впадешь! Уж лучше женись, если не можется.

– Да разве это ответ?

– А что же тебе надобно, горделивый?

– А мне такого ответа надо, чтобы годился он на все времени и для всяких случаев жизни, и чтобы не было никаких противоречий, и чтобы всегда я знал, как поступить, и чтобы не было никаких ошибок, – вот чего мне надо. Жениться я погожу, а вы пока подумайте. Даю вам семь дней сроку, а вы позовете меня через семь дней, вернусь я в ад, – поминай как звали!

Даже рассвирепел черт: вот до чего захотелось ему добра! Понял это добрейший попик и, не рассердившись нисколько, старательно думал шесть днем, а на седьмой позвал к себе дьявола и сказал:

– Черт ты внимательный, а главное-то в книгах и проморгал, да. Читал, что сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Ясно ведь, а? – торжествовал попик, – возлюби – вот тебе и все.

Но измученный черт нимало не обрадовался и мрачно ответил:

– Нет, не ясно. Раз я про себя не знаю, что мне нужно, и желания мои неясны и даже противоречивы, то как же другому буду я благодеяния оказывать? Живым манером в ад его вгоню, опомниться он не успеет.

– Экий ты – не знаю, как тебя назвать, – раскоряк! Ну, не можешь ты, как самого себя, то просто возлюби. И когда возлюбишь, то все и увидишь, и все поймешь, и добро без усилий сотворишь: узенькая будет у тебя тропочка по виду, как канат натянутый, и никуда с нее не упадешь и ни в какую трясиину не взвалишься.

– Возлюби! – мрачно ухмыльнулся Носач, – возлюбить-то я и не могу. Какой же был бы я черт, если бы мог возлюбить?.. Не черт бы я был, а ангел, и не я тогда у вас, а вы бы у меня учились. Поймите же меня, святой отец, потрудитесь: не могу я по природе своей любить ангельской любовью, но и зла делать не желаю, а хочу творить добро – вот вы этому самому меня и научите.

Сказал попик сокрушенно:

– Природа твоя гнусная.

– На что гнуснее! – согласился черт угрюмо: – вот потому-то и бороться с нею хочу, а не камнем ни дно идти. Не для одних же ангелов небо, имею же и я право стремиться к небесам? – вот вы мне и помогите. Даю вам еще семь дней сроку, а не поможете, – махну на все рукою и провалюсь в таргарары!

Прошло еще семь дней, и, позвав мрачного черта, сказал ему попик следующее:

– По многом размышлении нашел я для тебя, несчастный, два весьма вразумительных правила: полагаю, что не промахнешься. Сказано: если кто попросит у тебя рубашку, то ты и последнюю отдай. И спи того лучше сказано: если кто тебя по одной щеке ударит, то ты и другую подставь. Делай так, как сказано вот тебе и будет урок на первый раз, и сотворишь ты добро. Видишь, как просто!

Черт подумал и радостно осклабился:

– Это другое дело. Не знаю, как и благодарить вас, святой отец: теперь я знаю, что такое добро.

Но оказывается, что и тут не узнал он добра. Прошло две недели, и уже стал успокаиваться обрадованный попик, как снова явился к нему черт; и был он мрачнее прежнего, на лице же имел кровоподтеки и ссадины, а на плечах, поверх голого и темного тела трепалась совсем новенькая рубашка.

– Не выходит, – мрачно заявил он.

– Что не выходит? – встревожился попик. – Лицо у тебя такое неприятное, ах, боже ты мой, – и над глазом синяк... а нос-то, нос-то!.. Что же это ты, милейший, пошел добро творить, а вместо того – подрался. Или, может быть, ты с лестницы упал? – ничего я не понимаю.

– Нет, подрался.

– Да я же тебе говорил: еще кто ударит тебя по левой щеке, подставь правую. Помнишь?

– Помню. Две недели ходил я, святой отец, по городу и все искал, чтобы меня по щеке ударили, и никто меня не ударил, и не мог я, святой отец, выполнить заветы добра.

– А драка-то? А это что же такое?

– Это совсем другое дело. Заспорил я с одним гражданином, и он меня ударил тростью по голове вот по этому месту, – черт указал на темя. – Тогда я его, так мы и подрались: и скажу вам, не хвастаясь: я ему два ребра сломал.

Попик отчаянно замотал головой.

– Ах, Господи, да ведь сказано же тебе: «Аще кто ударит тебя по левой щеке...»

Но черт кричал еще громче:

– Говорю же вам: не по щеке, а вот по этому месту! Сам знаю, что когда по щеке, то нужно другую, а он по этому месту. Вот шишка, – попробуйте.

Руки опустились у несчастного попика. Отдышавшись, сколько следовало, сказал он с горечью:

– Ну, дурень же ты. Ум у тебя глубокий, человек ты, или, как бы это сказать, высокообразованный, а в отношении добра любая курица больше тебя понимает. Как же ты не понял, что святые слова сии имеют распространительное толкование. Дурень ты, дурень!

– Вы же сами говорили – толкований никаких не надо.

– Да, – горько усмехнулся попик, – толкований никаких не надо, – ты так думаешь! Ну, что я буду с тобой делать, сам ты сообрази, ведь не могу же я с тобой по городу ходить. Сидел бы ты лучше дома. А что это за рубашка у тебя подарил кто-нибудь?

– Сам я хотел ее подарить, да никто так ни разу и не попросил. Две недели ходил по городу среди самых бедных людей, и чего только у меня ни просили, а рубашки так никто и не догадался попросить, – уныло вздохнул черт. – Видно, сами они не понимают, что такое добро.

– Ах, несчастный, – снова заволновался поп, – вижу я, что наделал ты большого зла. Просили тебя, говоришь, о многом?

– Просили.

– И хлеба, например, просили?

– Просили.

– А ты ничего и не дал?

– Я все ждал, чтобы рубашку попросили. Не ругайте же меня, святой отец, и я сам вижу, что плохо мое дело. Да ведь хочу же я добра, подумайте, недаром же я от сатаны отрекся, недаром же я два года, как студент, сидел над книгами. Нет, видно, не будет мне спасения.

– Ну, ну, погоди, не отчаивайся, я тебя еще поучу. А скажи, за что тебя гражданин-то этот палкой ударил? Может быть, ты невинно пострадал, за это много прощается.

Черт развел руками.

– Уж и не знаю: тогда думал, что невинно, а теперь начинаю и в этом сомневаться. Так было дело. После долгих моих скитаний по городу, утомленный, но по-прежнему пылающий жаждою добра, присел я на берегу Арно отдохнуть, чтобы набрать сил для нового хождения. И вижу: утопает в реке неведомый человек, закружило его водоворотом, и носится он с необыкновенной быстротой. Раз он проплыл мимо меня, и другой, и третий...

– И четвертый?

– Да и четвертый. И пока я размышлял, отчего он не тонет, приписывая это чудесное явление силе невиданных подводных течений, собрался на его крик народ, и тут, – теперь

мне стыдно об этом рассказывать, – произошла эта самая скверная драка. Должен вам пожаловаться, святой отец: меня не один этот гражданин, – меня и другие били.

Стоял черт, опустив длинные руки, бессильные творить добро, и отвислый нос его, пораженный ударом, выражал уныние и крайнюю тоску. Посмотрел на него попик искоса и недружелюбно, еще раз взглянул, радостно вздохнул почему-то и, подойдя близко, наклонил к себе тугую голову дьявола и поцеловал его в лоб. И тут еще заметил: на темени, у самого корня седых колос, запеклась кровь. Дьявол покорно принял поцелуй и шепотом сказал:

– Страшно мне, святой отец! Видел я в аду крайние ужасы, до последнего страха касалась моя душа, но не трепетала столь мучительно, как теперь. Есть ли что страшнее: стремиться к добру так неуклонно и жадно и не знать ни облика, ни имени его! Как же люди-то на вашей земле живут?

– Так и живут, миленький, как видишь. Одни в грешном сне почивают, а кои пробудились, те мучатся и ищут, как и ты, с природой своей борются. мудрые правила сочиняют и по правилам живут.

– И спасаются? – недоверчиво спросил черт.

– А это уж одному Богу известно, и нам с тобой в этот конец даже и заглядывать не годится. Да ты не отчаивайся, миленький, я уж тебя не оставлю, я тебя и еще поучу, у меня много времени свободного. Черт ты старательный, и все у тебя пойдет по-хорошему, только в уныние не впадай, да ранку на голове промой холодной водой, как бы не разболелась.

Так кончили они разговор; и не знали они оба, ни огорченный унылый дьявол, ни сам попик с благодатной душой, когда он лобызанием любви касался противного дьявольского чела, а дьявол в свою очередь жалел жалостью любовной мечущихся людей, что как раз в эту минуту совершалось то самое добро, имени и порядка которого тщетно доискивались оба.

Так и разошлись, не зная: попик – к себе, приискивать новые правила добра для поучения, а дьявол – к себе, в темноту запыленных углов, чтобы там зализывать раны и тщетно допрашивать Бога об его грозных и непонятных велениях.

2

Вот и снова начал благодатный поп обучать добру непокорную дьявольскую душу, – но тут-то и начались для обоих самые тяжкие мучения.

Пробовал попик давать подробные наставления на разные случаи жизни, и выходило хорошо, пока случаи совершались в том самом виде и в том порядке, в каком предначертал их его наивный ум. Не только со старательностью, а даже и со страстью, проявляя силу воли необыкновенную, черт выполнял предписанное. Но всего многообразия жизненных явлений не мог уловить в свои плохонькие сети человеческий ум, и ошибался черт ежеминутно. В одном месте сделает, а рядом пропустит, потому что вид другой и слова у просящего не те; а то бывает, что и черт не дослышит, либо не так поймет, – и опять ошибка, человеку обидно, а добру поправление. Уже и у попика начал мутиться разум: никак он до тех пор не предполагал, чтобы столько было у жизни лиц, темных загадок, вопросов неразрешенных.

«И откуда это все берется? – думал попик, пока черт в углу зализывал новую рану или тяжело вздыхал от гнетущего бессилия. – То ничего не было, а то вдруг так все и полезло, так все и полезло. Тут не только черт, а и священнослужитель не разберется. Но как же я раньше разбирался? – удивительно! Боюсь я этого, а ничего не поделаешь: надо попробовать распространительное толкование. Дам ему этакие общие законы, а он их пусть распространяет... Только бы не вышло чего, о Господи!»

И на распространительное толкование черт покорно согласился: измучился он к этому времени до последней крайности и готов был на всякие жертвы, – да не принимались его жертвы. Били его столько, что за одно это он мог бы попасть в мученики, а выходило так, что

и побои не только его не украшали, а налагали ярмо все нового и нового греха. Ибо за дело его били, и не могли этого не признать ни он сам, ни его великодушный покровитель. Уже и плакать черт научился, а раньше совсем как будто и слез не имел. Плакал он столько, что, казалось бы, за одни эти одинокие слезы и неутомимую тоску о добре мог бы попасть он в угодники, а выходило так, что и слезы не помогали, ибо не было в них творческой к добру силы, а только грешное уныние. Только и надежды теперь оставалось, что на распространительное толкование.

И совсем приободрился черт и даже с некоторою гордостью сказал попу:

– Теперь вы за меня, святой отец, не бойтесь: теперь я и сам могу. Это раньше мне трудно было, а раз теперь вы допускаете толкование, я уже не собьюсь. Ум у меня положительный, твердый, пить я уж давно ничего не пью, и никаких ошибок теперь уже быть не может. Только вы не таитесь от меня, а прямо скажите самый важный и самый первый закон, по которому жить. Когда этот закон исполню, тогда вы и другие мне скажете.

Собрал всю свою науку, все свои соображения старый попик, взглянул и в душу к себе, – вздохнул радостно и не совсем решительно сказал:

– Есть один такой закон, но только боюсь я тебе его открыть: очень он, как бы это сказать, опасен. Но так как на все есть воля божия, то, так и быть, открою, ты же смотри не промахнись. Вот, смотри.

И, раскрыв книгу, трепетно указал черту на великие и таинственные слова: не противься злу.

Но тут и черта покинула его гордыня, как увидел он эти страшные слова:

– Ох, боюсь, – сказал он тихо. – Ох, промахнусь я, святой отец.

Было страшно и попу; и молча, объятые страхом, смотрели друг на друга черт и человек.

– Попробуй все-таки, – сказал наконец поп. – Тут, видишь ли, хоть то хорошо, что тебе самому ничего делать не нужно, а все с тобой будут делать. Ты же только молчи и покоряйся, говоря: прости им, Господи, не ведают, что творят. Ты эти слова не позабудь, они тоже очень важны.

Вот и ушел черт в новые поиски добра; два месяца пропадал он, и два месяца, день за днем, час за часом, в волнении чрезвычайном поджидал его возвращения старый поп. Наконец вернулся.

И увидел поп, что черт совсем исхудал, – одна широкая кость осталась, а от мяса и след пропал. И увидел поп, что черт голоден, жаждет, до голого тела обобран придорожными грабителями и много раз ими же избит. И обрадовался поп. Но увидел он и другое: из-под закоматившихся бровей угрюмо и странно смотрят старые глаза, и в них читается все тот же непроходящий испуг, все та же неутолимая тоска. Насилу отдышался черт, харкнул два раза кровью, точно по каменной мостовой бочонок из-под красного вина прокатили, посмотрел на милого попа, на тихое место, его приютившее, и горько-прегорько заплакал. Заплакал и попик, еще не ведая, в чем дело, и наконец сказал:

– Ну, уж говори, чего наделал!

– Ничего я не наделал, – печально ответил черт. – И было все так, как и надо по закону, и не противился я злему.

– Так чего же ты плачешь и меня до слез доводишь?

– От тоски я плачу, святой отец. Горько мне было, когда я уходил, а теперь еще горше, и нет мне радости в моем подвиге. Может быть, это и есть добро, но только отчего же оно так безрадостно? Не может так быть, чтоб безрадостно было добро и тяжело было бы его творящему. Ах, как тяжело мне, святой отец. Присядьте, а я вам расскажу все по порядку, вы уже сами разберете, где тут добро, – я не знаю.

И долго рассказывал черт, как его гнали и били, морили жаждою и грабили по пустынным дорогам. А в конце пути случилось с ним следующее:

– Лежу я, святой отец, отлеживаюсь на камне, что при дороге. И вижу я: идут с одной стороны два грабителя, злых человека, а с другой стороны идет женщина и несет в руках нечто, как бы драгоценное. Говорят ей грабители: отдай! – а она не отдает. И тогда поднял грабитель меч...

– Ну! – вскричал попик, прижимая руки к груди.

– И ударил ее мечом грабитель, и рассек ей голову надвое, и упало на дорогу нечто драгоценное, и когда развернули его грабители, то оказалось оно младенцем, единым и последним сокровищем убитой. Засмеялись грабители и один из них, тот, что имел меч, взял младенца за ножку, поднял его над дорожкой...

– Ну! – дрожал поп.

– Бросил и разбил его о камни, святой отец!

Поп закричал:

– Так что же ты! Так как же ты! Несчастный! Ты бы его палкой, палкой!

– Палку у меня раньше отняли.

– Ах, боже мой! Ведь ты черт, ведь у тебя же есть рога! – ты его бы рогами, рогами! Ты бы его огнем серным! Ведь ты же, слава Богу, черт!

– Не противься злему, – тихо сказал черт.

Было долгое молчание.

Побледневший попик как стоял, так и пал на колени и покорно сказал:

– Моя вина. Не ты, не грабители убили женщину и ребенка, – я, старый, убил женщину и ребенка. Отойти же в сторону, мой друг, пока я помолюсь за наш великий человеческий грех.

Долго молился поп; окончивши молитву, разбудил уснувшего черта и сказал ему:

– Не для нас с тобой эти слова. И вообще не нужно ни слов, ни толкований, ни даже правил. Вижу я, что иногда хорошо любить, а иногда хорошо и ненавидеть; иногда хорошо, чтобы тебя били, и иногда хорошо, чтобы ты и сам кого-нибудь побил. Вот оно, сударь, добро-то.

– Тогда я пропал, – решительно и мрачно заявил черт. – Для себя вы как хотите, а мне дайте правила.

– А ты и опять промахнешься и меня подведешь: нет, сударь, довольно! Попик даже рассердился. – Нету правил. Нету и нету.

– А раз правил нет, так и добра никакого нет.

– Что? Добра нет? А что я с тобой, с чертом, разговариваю, что я тебя, черта, учу, это – не добро? Поди, сударь, неблагодарный ты это, как бы сказать, господин!

Но то ли озлобился черт, то ли вновь до отчаяния дошел, – уперся мрачно и ворчит:

– То-то много вы меня научили, есть чем похвалиться!

– Да разве черта научишь?

– А раз черта не научишь, так чего же ваше добро стоит? Ничего оно не стоит!

– Эй, прогоню!

– Прогоняйте, если не жалко. Я в ад пойду.

Помолчали. Черт спросил:

– Так как же, святой отец, идти мне в ад?

Даже прослезился попик: так жалобно спросил его черт, и поклонился низко, говоря:

– Прости меня, миленький, обидел я тебя. А относительно добра вот что я тебя спрошу: черт ты любознательный, и во многих ты бывал храмах и хранилищах искусств, и много ты видел творений великих мастеров, – нравятся ли они тебе за красоту?

Черт подумал и ответил:

– Какие нравятся, а какие нет.

– А слышал ли ты, чтобы для красоты были правила?

– Какие-то, говорят, есть.

– Какие-то! А можешь ли ты, раскоряка, узнав с них какие-то правила, сотворить красоту?

– Какой у меня талант? Нет, не могу.

– А добро без таланта творить хочешь? Тут, миленький, для добра-то таланта требуется еще больше, да. Тут такой талант нужен!

Черт даже засвистал:

– Вот оно что! Нет, святой отец, это вы уж через край хватили! Если я плохую картинку напишу, меня за это в ад не пошлют, а если я ближнему голову сверну, так ведь какой содом подымется! Да картинку-то меня никто писать и не понуждает, а добро, говорят, твори. Твори, – а правил не дают; твори, – а в чем дело, не объясняют, да за каждую промашку в потылицу!

– Талант нужен, миленький!

– А если его у меня нет, так в ад мне и идти?

Поп покачал головою и руками развел:

– Уж и не знаю, голубчик, сам голову с тобою потерял.

– Знать не хочу вашего таланта! Правила мне давайте! Я не картинки писать хочу, а добро творить, – вот вы меня и учите, хоть сами выдумайте, а учите!

Совсем разбушевался несчастный дьявол, под конец пригрозил даже пойти к другому попу. Старик даже обиделся и укоризненно сказал:

– Вот уж это нехорошо, дружок! Сколько я на тебя труда положил, вот, думал, приведу к Богу новую овцу, полюбил тебя, как сына, а ты хочешь к другому. У меня тоже самолюбие есть, за что же ты меня обижаешь? Ты меня лучше не обижай. А я тебе вместо правил, с которыми и человеку-то опасно, дам урок на каждый день. Времени у меня свободного много, и сяду я за труд: с самого раннего утра очерчу тебе каждый день, сколько их есть в году, что и как делать. Но только от писаного не отступай ни на единую черточку, а то ты сейчас же промахнешься; если же будут сомнения у тебя или что позабудешь, то в этих случаях бездействуй. Как бы тебе это сказать: закрой глаза, заткни уши и стой как истукан. Нынче же сажусь за работу, а ты иди наверх, приютись где-нибудь под крышей и бездействуй, пока не скажу. Если же скучно будет, то помогай звонарю, – он совсем у меня от старости ослабел и не в те веревки дергает. Звони себе во славу Господню!

Вот и сел старый поп за свой великий труд, а черт начал бездействовать. Для этой цели разыскал он среди темных чердачных переходов, поблизости от колокольни, комнату не комнату, а так помещение: четыре стены глухие, вместо двери низкий сводчатый лаз, и только на одной стене, высоко над полом, светлело глубокое, запыленное, крытое паутиною оконце. Раз в два или в три дня приносил ему попик скудную пищу и присаживался для недолгой душевной беседы, а в остальное время, никого не видя, черт бездействовал и размышлял. Против этих размышлений напрасно предостерегал его попик, говоря, что у дьявола его размышления есть действие; и притом вредное, – черт хоть и соглашался, но ничего поделаться с собою не мог. Трудно было не думать об испытанном, а как начнет думать, так и покажутся со всех сторон мутящие разум противоречия: скользит прекрасное добро, как тень от облачка над морской водою, видится, чувствуется, а в пальцы зажать нельзя. Кому же верить, как не Богу, а сам Бог нынче одно говорит, завтра другое, а то и сразу говорит и то и другое; в каждой руке у него по правде, и на каждом пальце по правде, и текут все правды, не смешиваясь, но и не соединяясь, противореча, но где-то также в своем противоречии странно примиряясь. Но где? – не может найти этого места несчастный черт. И от этого овладевает им крайний человеческий ужас, и страшно не только двинуть рукою, да и вздохнуть-то страшно.

– Ну, как, – спрашивает попик, – соскучился? Ничего не поделаешь, потерпи, миленький, скоро авось и кончу, тогда вот как заживешь. Здоровье у меня только плохое, и смерть близко, – ну, уж как-нибудь доведу, не оставлю тебя, сирого.

Черт еле слышно шепчет:

– Противоречия.

– Опять! – ужасается попик. – И где ты их только находишь? Это в разуме, брат, да в словах всякие противоречия, так на то он и разум, и не может без того, чтобы все четыре колеса не в одну сторону вертелись; а в совести, брат, все течет согласно.

Черт криво усмехнулся:

– Хорошо вы говорите, святой отец: так, значит, не бывает, что три колеса в одну сторону вертятся, а четвертое в другую?

– Ну и дурень! Конечно, не бывает.

– А вы говорите, что бывает.

– Я говорю? Да что ты на меня, миленький, валишь? Сам запутался, а на меня валишь. У меня и то после каждого разговора с тобою голова болит, а мне голова нужна, я для тебя же, дурака, работу сочиняю. Какой ты, брат, неприятный, как бы это сказать, господин. Лучше скажи-ка: строго бездействуешь или допускаешь послабления?

Черт угрюмо вздохнул.

– Строго. Вчера вот только муху убил, очень она на лицо липла, и не знаю, можно это или нельзя?

– Муху-то? – засмеялся попик. – Муху можно! Постой... Ну, вот и опять сбил ты меня, несчастный: то ли можно, то ли нет, – теперь уж и сам не знаю. Не взыщи, брат: сам меня запутал. Пока ты меня не спрашивал об мухе, – знал я хорошо, что бить их можно, и неоднократно бил, а вот теперь...

– Живая она, – мрачно сказал черт.

– Да, да, живая! – огорчился попик. – Так и я значит, живых мух бил? Вот грешник! Ай-ай-ай, вот грешник!

Но черту этого мало. Ему нужны вывод и твердое решение.

– Значит, нельзя мух бить? Вы прямо скажите.

– Мух-то? – недоумевает попик. – Ты про мух говоришь?

И до того, случилось, они договорятся, что оба впадут в полное одурение и долго, не мигая, смотрят друг на друга. Но только у черта одурение было надменное и как бы снисходительное, а у попаика тихое и скоропреходящее: еще до своей келейки после разговоров не успеет дойти, как все противоречия забыл, развеселился, а потом в благостном настроении уселся за тяжелую для дьявола работу. И мух опять бьет, и даже не без злорадства.

Но что за мухи для дьявола! Стоит он со своею непомерную дьявольскою силой, готовый сокрушить горы и не знает, как поступить с ничтожной мухой, надоедливо ползающей по мрачному, изборожденному лицу, еще хранящему темный отблеск адских неугасимых огней. Что за муки для дьявола! Тонкий ум, изощренный в упражнениях, способный одним колебанием своим создать как бы новый, великий мир, в ужасном бессилии останавливается перед ничтожнейшим вопросом. А муха ползает, а муха надоедливо жужжит, забирается в волосатое ухо, глупо и нагло щекочет мрачно стиснутые губы, бесстыжая, нелепая, даже не подозревающая о тех страшных безднах, над которыми издевается бессмысленно! Многих и многого ненавидел дьявол; много и многого он, страшился, но так и не узнала его душа образа более ненавистного и страшного, нежели образ ничтожной мухи, ползающей по лицу.

Но все хуже здоровье попаика, одолевает его белая старость. Попишет немного и полежит, и больше лежит, чем работает, а уже три года томится заключенный в бездействие дьявол и ждет обещанного добра. Поняв свою выгоду, уже не тревожит попаика противоречиями, а только жалобно торопит:

– Ах, поскорей бы, святой отец!

– Не бойся, миленький, не умру, – успокаивает его попик. – По моему расчету мне еще с полгодика осталось. Да, брат, с полгодика! А работа уже к концу подходит. Не пугайся, не

волнуй себя. А я тебя сегодня как раз порадовать пришел: нынче одного еретика жечь будут, так пойдем с тобою, посмотрим, повеселимся.

«Сказано: не убий», – мрачно подумал черт, глядя на улыбающегося попа, но вслух ничего не сказал и охотно собрался в путь, так как очень соскучился от долгого заключения.

Еретика долго жгли, и народ радовался. Приятно было и черту: немного напоминало ад; но вдруг вспомнилась муха, которой он не смел тронуть, и сразу затрещали в голове противоречия. Взглянул с тоскою на попа: тот покачивается от слабости, от волнения бледен, дрожат старческие руки, на голубеньких глазах слезы, а весь лик радостен и светится неземным светом. Жгли в аду и черти, но не было же святости в их лице! Ничего не может понять обезумевший дьявол. А попик-то радуется, даже светится весь! И от волнения, как только домой пришли, в постель слег, ослабел очень от радости. Не выдержал черт и, насупившись, вступил в диспут:

- Хотел бы я знать, чему вы радуетесь, святой отец?
- А как же? Еретичка сожгли! – ответил попик тихо и умильно.
- Так ведь сказано же: не убий! А вы человека убили и радуетесь.
- Никто его не убивал, что ты, миленький!
- Да ведь сожгли же его или нет?
- Слава Богу, сожгли, сожгли, миленький!

Даже глаза закрыл от умиления и лежит себе, такой беленький, чистенький, невинный, как младенец. «Неужто и здесь противоречие только в разуме да словах, а в совести его все течет согласно? – думал дьявол, беспомощно потирая рукой шишковатый лоб. – Ничего не понимаю! Видно, не в том добро, что делать, а в том, как делать... Нет, ничего я не понимаю, пусть он пишет свои уроки, а я уж до времени притаюсь, пальцем не шевельну!»

И с того времени в одиночество свое уже не возвращался, а остался при ослабевшем старце в качестве прислужника: подавал ему пищу, убирал келлейку, и с дьявольской силой и упоением чистил старое попиково платье, будучи уверен, что уже здесь-то наверно греха нет. Когда же, преодолевая слабость садился поп за продолжение своего труда, черт вытягивал свою длинную, жилистую шею и через плечо с жадным любопытством заглядывал: ох, не промахнуться бы попу! Ох, не подвести бы ему несчастного черта: ведь последняя надежда.

Но вот и кончена рукопись, а с нею как будто кончена и жизнь старенького попа. Уже не поднимается он с постели и последние строки начертал лежа: и неразборчивы они и кривы, но тем дорожи, что последние. На коленях принял черт великий дар и громко с истинным наслаждением поцеловал сухую руку.

– Что, рад небось? – спросил попик. – Ну, радуйся, радуйся, давно пора. Только смотри, опять не промахнись!

– Теперь не промахнусь, – уверенно ответил черт. – Если только вы там в чем-нибудь не промахнулись, но это уж ваше дело; а я буду исполнять точно, как сказано.

– Черт ты старательный, это верно. И рукопись смотри, не потеряй, другой не будет. Где ты думаешь подвизаться? Если поблизости, то загляни как-нибудь, навести, мне без тебя будет скучно. Привык я к тебе, дружок. Прежде я все твоему носу удивлялся, а теперь, знаешь ли, мне даже и нос твой нравится. Это ничего, что он отвислый: у многих людей бывают отвислые носы. Так где же ты думаешь подвизаться?

– Пойду по всему миру! – самонадеянно ответил черт. – Эх, пожили бы вы еще с полгодика, – много тогда хорошего рассказал бы я вам, святой отец! Вот до чего я хочу творить добро, – черт сжал огромные кулаки и яростно потряс ими, что это только видеть надо, как я начну работать!

Так и ушел черт в ликовании, но вот что дальше случилось. Вместо того, чтобы сразу начать действовать по наставлениям, что, конечно, было бы самое лучшее, он отправился в ад для проповеди. Потерял ли он соображение от радости, гордыня ли его обуяла и захотелось похвастаться перед своими, или просто потянуло его к родным местам, – но только от

попика прямою дорогою, мимо не колеблясь, полетел он в ад. И что же вышло? Только начал он проповедовать, а другие черти выскакивают вперед его и тоже проповедуют и даже с еще большей силой, так как свободно лгут. И в одно мгновение вся правда превратилась в ложь, и самые святые слова, яростно выкликаемые чертовскими глотками, приняли непристойный и страшный вид. Минуты, кажется, не прошло, а уж весь ад наполнился проповедниками и святыми; и впереди всех, обрадованный новой потехой, гнусавил псалмы вдребезги пьяный сатана. Визгливые истасканные ведьмы разыгрывали целые комедии на тему о благочестии и высоких подвигах; и никогда еще ад, даже в большие свои праздники, не был таким адом, как в этот несчастный день! А потом начались откровенные непристойности и всеобщая драка, – и больше всего попало Носачу, давно не упражнявшемуся и в значительной степени потерявшему ловкость. Но что самое печальное, – в драке у него порвали рукопись, и когда, отбившись от стаи шаловливых ведьм, он взглянул на свое сокровище – горю и стенаниям его не было предела. В ярости он оскорбил самого сатану, назвал его лжецом и еле унес ноги: так разгневался пьяный оклеветанный владыка!

Со всею прытью, какая только доступна была его старым ногам, прижимая к груди истерзанную рукопись, примчался Носач к старенькому попикку, но – увы! попик уже умирал.

– Да погодите же минутку – у меня рукопись порвали, – завопил черт, падая на колени.

3

Еще с добрый десяток минут, не сообразившись, вопил черт, и жаловался, и требовал новой рукописи, взамен попорченной, потом стих и, бережно отложив рукопись, сам опустился на пол у поповской постели. После долгого молчания разжал попик сухие, запавшие губы, бесильно пожевал ими и с трудом вымолвил:

– Опять промахнулся?

Черт мрачно взглянул на истерзанную рукопись и великодушно солгал:

– Так, пустяки, святой отец. Мне вас жалко: вы и вправду умираете или еще с полгодика поживете?

Попик ответил:

– Ни единого даже дня, дружок. Я уже вчера собрался умереть, да думаю: дай подожду денек – авось, и ты придешь. Вот ты и пришел! Спасибо тебе дружок. Открой мне, пожалуйста, занавес на окне, хочу я последним взглядом проститься с дорогими местами.

Но в открытое окно только и видно было, что угол крыши, крытый красной черепицей, да уголок синего неба с проходящим облаком. Попик смотрит с радостью, а черт думает: «На что он смотрит?.. Тут и смотреть не на что: красная крыша да неба кусочек. Или он на облачко смотрит? Так понесу же я его на колокольню и покажу ему все облака, какие будут, и все красные крыши его возлюбленной Флоренции».

Так и сделал. Даже не спрашиваясь, подхватил он на свои жилистые руки сухонькое тельце, не оказавшее сопротивления, и с величайшею осторожностью донес до высокой площадки, где дух захватывало от высоты и сердце радовалось красоте города и божьего мира.

– Смотрите-ка, святой отец: это не то, что из окошка, – сказал он с гордостью.

И оба стали смотреть и радоваться. А уже близилось к закату солнце, и по ту сторону Арно на высоком холме чернели кипарисы, готовые своими острыми вершинами как бы пронзить падающее светило. На востоке же, откуда сегодня утром поднялось ликующее солнце, воздушной цепью залегли недалекие горы; и мнилось, будто гигантскими гирляндами благоухающих сиреневых цветов опоясан прекрасный город. Розовыми цветочками казались далекие виллы, расположенные по склонам, и в ущельях прохладно синела вечерняя тень.

Попик тихо радовался и вспоминал:

– Вот за теми горами я родился, дружок. Там и сейчас находится моя деревня; там была прекрасная девушка, которую я полюбил и оставил для Бога. И долго не было для меня иной радости, как смотреть на те далекие горы и тихо вздыхать. Давно это было, дружок, не помню когда.

Солнце заходило.

– А вот и милый город, по которому я ходил, много ходил. И нет, дружок, более приятного чувства как ощущать под ногою горячие, родные плиты, – как бы матерью становится земля, когда походишь по ней лет семьдесят, и смягчается твердость острого камня. Но там, куда я пойду сейчас, будет еще лучше, дружок.

Черт вздохнул, колебанием груди своей приподняв легонькое тело. Попик понял его тоску и сказал гаснущим голосом:

– Ты... не вздыхай. Очень возможно, дружок, что ты также пойдешь со мною в рай. Ты... черт старательный.

Красною, жаркою кровью разбрызгалось солнце за черными кипарисами и погасло. И, не отстав от него ни на единое мгновение, умер старенький попик, ушел из родного города, покинул родимую прекрасную землю. Долго и напрасно будил его встревоженный черт, зывал грубым голосом:

– А звезды-то! Вы еще звезд не посмотрели, святой отец. Вы еще на луну не взглянули, а уже идет она, святой отец, поднимается, вот-вот бледным светом ляжет на ваши родные плиты. Откройте же глаза, святой отец, и взгляните, умоляю вас!

Когда же убедился, что покровитель его и друг умер навсегда, то отнес его и положил на холодную постель. И когда нес по лестнице, то думал: «Вот вверх я нес живого, а вниз несу мертвого!». И великая скорбь овладела душой дьявола: метался он по комнате, и вопил, выл, как зверь, бился о стены, – не привык он к человеческому горю и не умел выражать его тихо. И до того дошел, что, схватив свое единственное сокровище, цель долгих поисков и страданий, изорванную рукопись, – с яростью швырнул ее в угол, как нечто негодное. Сделав же это, так и не понял, что именно в эту самую минуту им и совершалось то самое таинственное и недостижимое добро, имени которого он столь тщетно и мучительно доискивался. Так и не понял никогда!

Но какой неприятный вид имела драгоценная рукопись! Измятая, оборванная, растрепанная, испятнанная потными лапами чертей, лежала она перед угрюмыми глазами постаревшего дьявола, вновь вернувшегося к своим стремлениям и надеждам. С трепетом раскрыл он первую страницу и надолго погрузился в изучение добродушно неразборчивых, старательных строк. И по мере того, как читал, все больше тарасил глаза, пугался, недоумевал, пока, наконец, с последнею страницей весь не превратился в одно сплошное недоразумение и страх. Даже в самые тяжелые минуты жизни черт не имел такого растерянного вида, как теперь.

Что это – глумление! Насмешка над добром? Издевательство над бедным чертом, стремящимся к добродетели? Или же потерял свой последний разум старенький попик и с детской серьезностью лепечет наивные пустяки, придает характер важности ничтожным мелочам, путается в них, как в длинном, не по росту, платье? Но черт обманут, – черт в неистовстве и страхе: потеряна последняя надежда.

Вся книга, с начала своего до последней оборванной страницы, состояла из коротеньких деловых рецептов, точнейшего описания тех действий, которые надо совершать по дням недели, по часам дня. И ни единого закона, ни единого правила, ни единого общего начала, – даже самое слово «добро» не упоминалось ни разу. Делай то-то (точное описание поступка), – и больше ничего, что-то вроде нынешних поваренных книг, с той только разницей, что даже и в поваренных книгах у составителей их видно иногда старание дать общее начало: ешь только овощи, а мяса ни в каком случае не ешь! А тут – ничего.

И что особенно и больно укололо черта: во всей книге не было ни одной из тех прекрасных истин, что в таком огромном количестве собраны за тысячи лет существования человеческого разума и служат к украшению и прославлению добра. Он сам знал их немало и мог, казалось бы, ожидать, что старенький поп не поспеет на этот предмет, – не даром же он столько учился и так прекрасно чувствовал добро.

Но нет ничего! Сухой перечень голых действий, иногда тщательно зализанная клякса, свидетельствующая только о трудолюбии писавшего – и все. Но вдруг появилась надежда: может быть, попик нарочно не сделал общих выводов, предоставляя это уму и трудолюбию самого черта – о, он был достаточно хитер, этот старый, невинный попик! И снова садится старый черт за работу и вглядывается в каждое слово сквозь круглые огромные очки, выписывает, сверяет, грубыми пальцами ловит тонкую нить неназванного добра. Обрывается нитка, – но что до того старательному черту, возлюбившему добро! Отыскивает концы, вяжет хитрые узелки, путает и распутывает, складывает и вычитает, – вот-вот доберется до итогов, твердо и на все времена и для всех людей, какие были, есть и будут, установит неизменные начала добра. Черт не честолюбив, сейчас ему дело только до своей шкуры, но минутами овладевает им истома гордости: не для всех лиц, ищущих добра, работает он так неутомимо, не ему ли некогда воздвигнется новый и великолепный храм?

Какими же словами можно описать отчаяние и последний ужас несчастного дьявола, когда, подведя последние итоги, не только не нашел в них ожидаемых твердых правил, а наоборот, и последние утратил в смуте жесточайших противоречий. Подумать только, какие оказались итоги:

Когда надо – не убий; а когда надо – убий.

Когда надо – скажи правду; а когда надо – солги.

Когда надо – отдай; а когда надо – сам возьми, даже отними.

Когда надо – прелюбы не сотвори; а когда надо – то и прелюбы сотвори (и это советовал старенький поп!).

Когда надо – жены ближнего не пожелай; а когда надо – то и жену ближнего пожелай, и вола его, и раба его.

И так до самого конца: когда надо... а когда надо – и наоборот, не было, кажется, ни одного действия, строго предписанного попиком, которое через несколько страниц не встречало бы действия противоположного, столь же строго предначертанного к исполнению; и пока шла речь о действиях, все как будто шло согласно, и противоречий даже не замечалось, а как начнет дьявол делать из действия правилом – сейчас же ложь, противоречия, воистину безумная смута. И самое страшное и непонятное для дьявола было то, что наряду с действиями положительными, согласными с известным уже дьяволу законом и, стало быть, добрыми, – старый попик с блаженным спокойствием предписывал убийство и ложь. Черт никак не мог допустить, что не попик его обманывал, а обманывают слова; и вот наступил для него миг совершенного безумия, – вдруг показалось, что старый попик есть не кто иной, как самый величайший грешник, быть может, сам сатана, в виде сатанинской забавы пожелавший искусить черта.

Забившись в темный угол, черт горящими глазами глядел на дверь и думал:

«Да, да, это он! Он узнал, что я хочу добра, и нарочно оделся попом и даже Богом, как я оделся человеком, – и погубил меня. Никогда не узнаю я правды и никогда не пойму, что такое добро. Быть же мне вовеки несчастным и в жажде добра вовеки неудовлетворенным. Проклят я вовеки!».

И все ждал, что раскроется дверь, и покажется смеющийся сатана и, простив, позовет его в ад. Но не приходил сатана, и дверь молчала; и, подумав, так решил несчастный старый черт:

«Буду жить в отчаянии и творить предписанное, никогда не зная, что такое творю. Проклят я вовеки!»

Так и жил черт, стареясь. Когда требовалось рукописью, – спасал, а когда требовалось убивать, – убивал. И было ли противоречие только в словах, а в действиях все уживалось согласно, но постепенно наступил для черта покой, и почувствовал он даже как бы некоторое удовлетворение. И хоть и верил твердо, что проклят вовеки, но настоящего живого огорчения от этого не испытывал; и о добре перестал думать. Но были для него и черные дни, – обрывалась рукопись, и в зияющей пустоте вставал ужасный образ бездействия; и поднимали голову ядовитые сомнения и, как призрак манящий, звало в неведомую даль неведомое Добро.

Тогда удалялся черт в свой темный чердачный угол и там застывал в бездействии. Заложив уши, чтобы ничего не слышать, закрыв глаза, чтобы ничего не видеть, стоял он, черный, подобно истукану; и были крепко сложены на груди жилистые руки, способные сокрушить горы и обреченные на бездействие. Стар уж он был в это время: завивали голову космы седых волос, лезли из широких ноздрей, мшистым кровом крыли и лицо, и грудь, и застывшие руки; и, увидя его, не подумал бы ты, что это некто живой, обреченный на страдания, а сказал бы: вот и еще одна старая колонна в храме, которой я раньше не заметил. Ползали по лицу его мухи, серая пыль ложилась на голову, и пауки неторопливо плели на нем свои тенета, – и время стояло неподвижно, как проклятое.

...Кто не любит добра?

Блехман Михаил

Салун

Первым слово взял Сруль. С присущей ему, по мнению всех или почти всех присутствующих, наглостью, подкреплённой, в соответствии с тем же мнением, чувством высокомерного превосходства не только над поименованными присутствующими, но и над неназванными отсутствующими, нахально улыбаясь и неприемлемо для высокого собрания картавя, он встал из-за круглого стола и заявил во всеуслышание:

– Уважаемые соратники! По праву председателя собрания беру слово.

– А в репу? – недобро отозвался в принципе добрый Василий, опрокидывая в традиционно широко открытый рот содержимое неизменного гранёного стакана и отправляя туда же ложку ожидаемой красной икры. – Кто ты такой, чтоб слова брать? Нам паршивые председатели без надобности. Лучше пусть вон Джоник председательствует, он хоть существо и примитивное, это всем известно, и души моей, ясное дело, не понимает, да и куда ему, а всё равно, Срулька, ты ему не чета.

Джон, известный Василию своей примитивностью, примитивно и снисходительно ухмыльнулся, ожидаемо положил ноги на круглый стол, откусил и выплюнул кончик сигары и надвинул шляпу на лоб.

– При всём моём явном уважении к Джону и тайном презрении к вам, Василий, – всё так же неприятно резанул слух Василия Сруль, – председателем может быть только ваш покорный слуга. Впрочем, служить вам не намерен, увольте.

– Поясните, почему же только вы? – тонко, но зловеще, как ему и надлежит, улыбнулся дон Чарлеоне, поправляя неизменный, безукоризненно выложенный воротник белоснежной рубашки. Его до боли знакомая почти всем иссиня-чёрная, блестящая лаком безукоризненная шевелюра гармонировала со стандартными белоснежными зубами, чёрными брюками и лакированными туфлями. Сруль открыл рот, чтобы мотивировать свою точку зрения, но в это мгновение у дон Чарлеоне зазвонил мобильный телефон. Дон с непроницаемым лицом послушал и произнёс с нетерпением ожидаемую всеми фразу:

– Разумеется, в асфальт. Начинайте без меня, Виченцо, у меня важный строительный проект.

Тут же зазвонил мобильный телефон Василия. Предварительно опорожнив стакан и заев икрой, Василий профессионально распорядился:

– Ваня, покупай асфальтовый завод.

Франсуаза, в сумочке которой творился традиционный милый беспорядок, ухитрилась найти среди десятков флакончиков наимоднейший, небрежно капнула себе за ушками и обвела присутствующих наивным, почти детским взглядом, оценивая, кому бы и с кем бы изменить. Дон Чарлеоне нервно выбросил свой мобильный телефон из окна, после чего, разумеется, намотал на вилку полуметровый макарон, сдобренный помидорным соком и посыпанный сыром.

– Потому что вы же сами говорили, что я – самый хитрый из вас! – наконец-то смог ответить Сруль и поднял крючковатый палец.

– Я всё равно хитрей всех! – возразил Срулю Грыць, откусывая сала. – Васька вон знает, можете кто угодно у него спросить. А тебя, Срулька, ни в жизнь никуда не допущу.

Сруль принял услышанное сказанное за неизбежное должное, а Василий возразил:

– Не самообольщайся, Гриц. Ты так же примитивен, как Джон, только у Джона сигара большая и кольт в заднем кармане, а у тебя, кроме меня, никого нет.

Грыць невесело махнул рукой:

– Краще самому, але з салом, ніж з твоею клятою ікрою заместь сала.

– Ты, Гриц, без меня, как Франсуаза без своего Франсуа. Не советую забывать. – И довольный Василий снова обильно выпил и плотно закусил.

Франсуаза, уже решившая, с кем изменить, но ещё не выбравшая, кому, традиционно откусила от лягушачьей ножки и улыбнулась ещё тоньше, чем дон Чарлеоне:

– Измена потому и называется изменой, – соблазнительно програссировала она, – что носит непостоянный характер. А что может быть очаровательнее непостоянного характера?

Джон потянул виски, затянулся сигарой и, не целясь, от бедра выстрелил из кольта в переносицу сонной мухе, отдыхавшей на потолке.

– Терпеть не могу жуков, особенно в зале заседаний, буркнул он, явно щеголяя перед Василием своей решительной примитивностью.

– Но это же муха! – картинно всплеснула руками Франсуаза и заела неизменным сыром. – Причём сонная. – Наконец-то она поняла, кому следует изменить.

– Какая разница, как назвать раздражающий объект? – Джон равнодушно дунул в кольт и снова надвинул шляпу на глаза.

Сруль тем временем продолжил гнуть свою линию:

– Я, как самый – с чем вы не будете спорить, – жадный из вас, требую слова.

Дон Чарлеоне блеснул широкозубой улыбкой и массивным чёрным перстнем на мизинце:

– Ждём от вас разумного предложения, Сруль. Вы, разумеется, поддержите идею траттории?

И почти незаметным ловким движением снял рекордно длинную лапшу с оттопыренного уха Василия.

– А я всё равно жадней Сруля, – возразил Грыць, но никто не обратил на него внимания.

– При всём моём сдержанном уважении к дону Чарлеоне, – продолжал Сруль, – траттория не выглядит лучшим вариантом. Слишком уж это специфично. Предлагаю кошерный ресторан.

И, перекрикивая зашумевших, картаво добавил:

– Эта идея сулит нам баснословные барыши!

Василий заел из ложки, прополоскал горло из стакана и спросил саркастически:

– А кто наладит бесперебойную поставку ритуальных младенцев?

– Повякайте тут! – отозвался Джон и вытер ствол кольта рукавом Грыця. – Салун надо делать, и точка.

– Вот именно! – осклабился Грыць. – Развякался. А ну закрыл рот!

– Грыць, не переходите границу, – заметил Джон. – И вообще, ваша неконструктивность и недемократичность меня разочаровывают.

Франсуаза отпила неизменно красного вина, вздохнула и снова принялась искать, с кем бы изменить, тем временем соблазнительно улыбаясь каждому из присутствующих, кроме Сруля:

– Кафе-шантан. Более романтического заведения не сыщешь! Где ещё можно романтично отдохнуть от семейной жизни?..

Зазвонивший мобильный телефон прервал её на полуслове:

– Алло! – игриво отозвалась Франсуаза. – Это ты, Франсуа? Не беспокойся, милый, я помню: пока не изменю, домой не явлюсь, я же знаю, какой ты у меня строгий!.. А как ты? Изменяешь? Умница, при встрече обменяемся впечатлениями. Да-да, и партнёрами, разумеется, тоже.

– А я, братцы, – пустил ностальгическую слезу Василий, – предлагаю открыть гадюшник.

Партнёры насторожились и прислушались.

– Сами посудите, – ещё не полностью успокоившись от нахлынувшей ностальгии, продолжил он. – Салун – для тех, кто не при понятиях, больше любит без дела пострелять.

Которые по понятиям – тем больше трактория подходит, это заведение семейное, тихое, но и навару никакого. Кафе-шантан – скорее для женатых, а таких в наше время, сами знаете, негусто. Про кошерную забегаловку я вообще молчу: разве ж ихней мацой приличного человека накормишь?.. А гадюшник, братцы, это самое то, что нам надо, самый тип-топ, уж вы мне поверьте! Там всё будет общее, все будут вместе: и женатые, и разведённые, и кто по понятиям, и кто пострелять зашёл, и кто просто культурно отдохнуть. Гадюшник, братцы, это святое. Без гадюшника жизнь не жизнь, уж я-то знаю. Которые говорят «обойдёмся без гадюшника, кому он нужен, устарел и всё такое», – не верьте, это они тоску заглушают. Им без гадюшника – как Франсуазе сами знаете без чего...

Присутствующие хотели возразить, но в этот момент у Василия зазвонил мобильный телефон.

– Привет, кореш! – широко улыбнулся Василий и кивнул напрягшемуся Джону: – Это твой дружбан звонит. Как жизнь кочевая, брательник? Борода в такую жару не мешает? Ну, извини, извини, неудачно пошутил. Знаю, для тебя борода – святое дело, как для меня сам знаешь что.

Сруль махнул рукой и вышел, не прощаясь, так и не дождавшись никем не только не данного, но даже не обещанного слова, однако убеждённый в том, что он самый хитрый и самый жадный.

Василий радостно послушал, потом дал отбой.

– Вот видите, я ж говорил, и корешок со мной согласен. Говорит, что ни стройте – хоть макаронную столовку, хоть фаршированную забегаловку, хоть гусиный буфет, – цена им одна, и суть у них одна – как есть гадюшник. Я, говорит, не угрожаю, но попомните, говорит, моё слово: всем вам, говорит, самое место в гадюшнике. Уж за мной, говорит, не заржавеет.

И Василий на радостях запил и заел, как полагается: возможно, предвкушая радость от обещающей скоро начаться стройки, возможно, тоскуя по старым, добрым временам, когда гадюшником было не удивить.

Дон Чарлеоне подошёл к окну, задумчиво откусил пиццы и, как бы мысленно рисуя очертания грядущего всеобщего гадюшника, посмотрел вниз, на усеянный лужами асфальт. Потом позвонил по запасному мобильному телефону и распорядился:

– Виченцо, продавайте асфальтовый завод за полцены. Асфальт нам скоро не понадобится.

Джон с криком «Не люблю жуков!» выстрелил в комара и снова продул колыт. Комар пискнул, но успел улететь в форточку.

Франсуаза, доев лягушку с сыром, набрала номер Франсуа и загадочно прошептала:

– Любимый, сегодня спи без меня!

И добавила многообещающе:

– Нас с тобой ждут экзотические приключения!..

Один только Грыць ничего не слышал и ни о чём не думал – он беззаботно спал под боком у Василия. Каждый из соратников был занят своими мыслями и планами и не обращал на него ни малейшего внимания.

Воровский Вацлав

Пропавшая скрипка

Ну и скандал!

Приехал в Петербург концерттировать знаменитый скрипач Исайе – нарочно выписали его из-за тридцати земель – и вдруг – извольте радоваться – украли у него скрипку!

Да какая скрипка! Работа Страдивариуса из Кремоны – триста лет от роду! Это в десять раз старше, чем дворянство Пуришкевича!

Взволнованный таким истинно русским приемом, Исайе бросился к тому, к другому...

– Помилуйте, – говорит, – всю Европу изъездил – и ничего подобного. Мало того: в Азии был – скрипку берегли, как пупок Будды, – на белом слоне возили. В Америке был – особый вагон скрипке предоставили. В Африке был – дикари ей, как божеству, поклонялись – трех готтентотов в честь ее зарезали... А приехал в Россию, в страну образованную, конституционную, в страну Крушеванов и Пуришкевичей – вот тебе... украли. Как я теперь без нее жить буду?

– А вы обратитесь в «Союз русского народа», – посоветовал кто-то.

И пошел Исайе к Дубровину.

Встретил тот его недоверчиво, прочел визитную карточку, нахмурился, покачал головой.

– Исайе... Исайе... вы что же это, жид, что ли, будете?

Но оказалось – не жид, а бельгиец, и лицо Дубровина просияло.

– А... знаю, знаю! Как же, мне Пеликан.

И вождь «русского народа» сразу стал разговорчив, любезен, доверчив.

– Скрипка, говорите вы; эх, батенька, что там скрипка, у нас целые вагоны исчезают, целые поезда неведомо где затериваются... Тут не Запад, не Европа, не конституционный разврат. Тут Россия. Мы покончили с революциями, мы возвращаемся теперь к исконным русским началам, к русской правде.

Вам, господам европейцам, не понять русского духа. У вас там все аккуратно разложено по полочкам – то мое, то твое, – моя скрипка, твои часы. Все у вас эгоистично, узко, буржуазно – собственность да собственность. В государстве, в муниципалитетах, в обществах – везде формалистика, отчетность, контроль, не прикоснись, не позаимствуй, не распоряжайся по своему разумению. Дрожат над каждой копеечкой, над каждой вещью – мертвые, сухие люди!

Нет, Россия не то! Если нужно для блага родины, мы отбрасываем всякую формалистику: отечество выше всего. Пусть революционеры кричат о растрате, о расхищении общественных капиталов, о казноядстве... Это они все из зависти. Нет! Тысячу лет жила Россия без контроля, без отчетности, без гласности – и крепка была, вознеслась над всем миром, покорила под ножи всех врагов и супостатов – и немецкого царя Наполеона, и японскую республику...

Вы вот все – скрипка, скрипка... Что такое скрипка? Пустая забава, увеселительный предмет... У меня у самого мальчонка на балалайке играет... А вы вот подумайте, такой факт: у меня из запертого сундука исчезли все документы по делу Пуришкевича. Я их опубликовать собирался, а они исчезли! Вот как! И знаю, кто их стянул... а вот ведь молчу, не жалуясь, не бегаю по городу. А потому, что отечество мне дороже всего! А вы все – скрипка, скрипка... Оно, конечно, без инструмента какой же вы теперь работник... Ну да не горюйте, вы всегда в Одессе место на конке получите... Я вам, пожалуй, письмецо в управу дам.

И скрипач ушел от Дубровина радостный, просветленный, благословляя истинно русскую культуру и истинно русскую правду.

Гаршин Всеволод

То, чего не было

В один прекрасный июньский день, – а прекрасный он был потому, что было двадцать восемь градусов по Реомюру, – в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было еще жарче, потому что место было закрытое от ветра густым-прегустым вишняком. Все почти спало: люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями; птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары. О домашних животных нечего и говорить: скот крупный и мелкий прятался под навес; собака, вырыв себе под амбаром яму, улеглась туда и, полузакрыв глаза, прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на пол-аршина; иногда она, очевидно от тоски, происходящей от смертельной жары, так зевала, что при этом даже раздавался тоненький визг; свиньи, маменька с тринадцатью детками, отправились на берег и улеглись в черную жирную грязь, причем из грязи видны были только сопевшие и храпевшие свиньи лапки с двумя дырочками, продолговатые, облитые грязью спины да огромные повислые уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю против кухонного крыльца, в которой, как они отлично знали, не было уже ни одного зернышка; да и то петуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда он принимал глупый вид и во все горло кричал: «какой ска-ан-да-ал!»

Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и сидело целое общество неспавших господ. То есть сидели-то не все; старый гнедой, например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Антона разгребавший копну сена, будучи лошадьёю, вовсе и сидеть не умел; гусеница какой-то бабочки тоже не сидела, а скорее лежала на животе: но дело ведь не в слове. Под вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компания: улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница; прискакал кузнечик. Возле стоял и старый гнедой, прислушиваясь к их речам одним, повернутым к ним, гнедым ухом с торчащими изнутри темно-серыми волосами; а на гнедом сидели две мухи.

Компания вежливо, но довольно одушевленно спорила, причем, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера.

– По-моему, – говорил навозный жук, – порядочное животное прежде всего должно заботиться о своем потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения. Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот стоит на твердой почве: он знает свое дело, и, что бы ни случилось, он не будет в ответе. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто целые дни без отдыха катает такой тяжелый шар – шар, мною же столь искусно созданный из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне, навозным жукам? Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен совестью и с чистым сердцем мог бы сказать: «да, я сделал все, что мог и должен был сделать», как скажу я, когда на свет явятся новые навозные жуки. Вот что значит труд!

– Поди ты, братец, с своим трудом! – сказал муравей, притащивший во время речи навозного жука, несмотря на жару, чудовищный кусок сухого стебелька. Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними отер пот со своего измученного лица. – И я ведь тружусь, и побольше твоего. Но ты работаешь для себя или, все равно, для своих жученят; не все так счастливы... попробовал бы ты потаскать бревна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. – Никто за

это и спасибо не скажет. Мы, несчастные рабочие муравьи, все трудимся, а чем красна наша жизнь? Судьба!..

– Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы, муравей, слишком мрачно смотрите на жизнь, – возразил им кузнечик. – Нет, жук, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и ничего! Совесть не мучит! Да притом вы нисколько не коснулись вопроса, поставленного госпожой ящерицей: она спросила, «что есть мир?», а вы говорите о своем навозном шаре; это даже невежливо. Мир – мир, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что в нем есть для нас молодая травка, солнце и ветерок. Да и велик же он! Вы здесь, между этими деревьями, не можете иметь никакого понятия о том, как он велик. Когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю, как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю огромной высоты. И с нее-то вижу, что миру нет конца.

– Верно, – глубокомысленно подтвердил гнедой. – Но всем вам все-таки не увидеть и сотой части того, что видел на своем веку я. Жаль, что вы не можете понять, что такое верста... За версту отсюда есть деревня Лупаревка: туда я каждый день езжу с бочкой за водой. Но там меня никогда не кормят. А с другой стороны Ефимовка, Кисляковка; в ней церковь с колоколами. А потом Свято-Троицкое, а потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сена, но сено там плохое. А вот в Николаеве, – это такой город, двадцать восемь верст отсюда, – так там сено лучше и овес дают, только я не люблю туда ездить: туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер больно стегает нас кнутом... А то есть еще Александровка, Белозерка, Херсон-город тоже... Да только куда вам понять все это!.. Вот это-то и есть мир; не весь, положим, ну да все-таки значительная часть.

И гнедой замолчал, но нижняя губа у него все еще шевелилась, точно он что-нибудь шептал. Это происходило от старости: ему был уже семнадцатый год, а для лошади это все равно, что для человека семьдесят седьмой.

– Я не понимаю ваших мудреных лошадиных слов, да, признаться, и не гонюсь за ними, – сказала улитка. – Мне был бы лопух, а его довольно: вот уже я четыре дня ползу, а он все еще не кончается. А за этим лопухом есть еще лопух, а в том лопухе, наверно, сидит еще улитка. Вот вам и все. И прыгать никуда не нужно – все это выдумки и пустяки; сиди себе да ешь лист, на котором сидишь. Если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами; от них голова болит и больше ничего.

– Нет, позвольте, отчего же? – перебил кузнечик, – потрещать очень приятно, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое. Конечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о том, как бы набить себе живот, как вы или вот эта престелная гусеница...

– Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! – жалобно воскликнула гусеница: – я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

– Для какой там еще будущей жизни? – спросил гнедой.

– Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными крыльями?

Гнедой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое понятие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного о будущей жизни.

– К твердым убеждениям нужно относиться с уважением, – затрещал, наконец, кузнечик. – Не желает ли кто сказать еще что-нибудь? Может быть, вы? – обратился он к мухам, и старшая из них ответила:

– Мы не можем сказать, чтобы нам было худо. Мы сейчас только из комнат; барыня поставила в мисках наваренное варенье, и мы забрались под крышку и наелись. Мы довольны. Наша маменька увязла в варенье, но что ж делать? Она уже довольно пожила на свете. А мы довольны.

– Господа, – сказала ящерица, – я думаю, что все вы совершенно правы! Но с другой стороны...

Но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало ее хвост к земле.

Это пришел за гнедым проснувшийся кучер Антон; он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил ее. Одни мухи улетели обсасывать свою мертвую, обмазанную вареньем, маменьку, да ящерица убежала с оторванным хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повел его из сада, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой, причем приговаривал: «ну, иди ты, хвостяка!», на что гнедой ответил только шептаньем.

А ящерица осталась без хвоста. Правда, через несколько времени он вырос, но навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали, как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала:

– Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения.

И она была совершенно права.

Зозуля Ефим

Что людям не надоедает

Людям не надоедает и вряд ли когда-нибудь надоест:

Беря займы, искренне уверять: «Ей-богу, до среды...»

Рассказывая длинную историю, заставляя ее непременно начаться: «В один прекрасный день...»

Гуляя с хорошенькой барышней, горячо решать женский вопрос.

Будучи же хорошенькой барышней, патетически восклицать: «Никогда не выйду замуж!»

А будучи слушательницей женских курсов, раз 500 в час ронять глубокомысленно: «Ах, нет настроения...»

Имея приличную ренту, любить ближних.

Не имея башмаков, развивать теории прогресса.

А не имея ума – читать публичные лекции...

Ничего не смысля в картине, бормотать с достоинством: «М-м... да... экспрессия, воз-дух...»

Не давать подачки нищему и заявлять гордо: «Не даю прин-ци-пи-аль-но!»

Не иметь сердца и пламенно обличать бессердечие.

Возмущаться проституцией по Амфитеатрову, но знакомиться с ней на деле...

Начать говорить о себе в январе, а кончить как раз к концу года.

Быть молодым сатириком и честно переписывать Сашу Черного...

Писать в «Синем Журнале» и острить над Брешко-Брешковским.

Периодически или же хронически страдать идиотизмом и жаждой спасения человечества, рассказывать анекдоты и говорить пошлости; вообще говорить, писать и ухмыляться, ржать, гримасничать, потеть; любить, потреблять продукты, высказывать мнения; ходить в кинематограф, жиреть и...

Впрочем, многое еще не надоедает и вряд ли когда-нибудь надоест людям, а среди этого многого, между прочим, – родиться на свет Божий и быть людьми...

Как люди скучают

Люди скучают так.

Заложив руки глубоко в карманы, удобно усаживаются на стуле, протягивают вперед прижатые вместе ноги и, высоко загнув носки, делают такой вид, словно видят их впервые.

Берут перо, бумагу, чернила, не спеша усаживаются за стол и пишут: «Ньюфаундленд. Ньюфаундленд. Ньюфаундленд. Маня, Фаня, Таня... Да здравствует Великобритания... Геккель... Меккель... 0000000». А под этим раз пятьдесят расписываются с необыкновенно размашистыми росчерками и замысловатейшими завитушками.

Ложатся на кровать, заложив под голову руки, долго исследуют цветочки на обоях и, догадавшись, что над цветочками этими старался, по всей вероятности, взрослый человек, искренно думают по его адресу: «Идиот».

Становятся где-нибудь на видном месте, например посреди комнаты, гордо отбрасывают назад голову, широко раскрывают объятия – точно так, как это изображено на книге Бальмонта «Будем как солнце», и, слегка выпучив живот, подогнув колени и закрыв глаза, оглушительно зевают...

Потом крестят рот, протирают пальцем глаза и, набрав в легкие много воздуха, выпускают его не сразу, а надув щеки и ударяя по ним ладонями: «Пвффу... Пвффу... Пвффу...»

А то скучают еще и так.

Одеваются с «художественным беспорядком», идут к морю и, вперив взор в какую-нибудь точку на горизонте, говорят меланхолически:

– Жизнь – глубока и таинственна, как море. Жизнь – это Сфинкс.

Встречают приятеля и говорят ему с широчайшей улыбкой:

– А! Кого я вижу! Сколько лет, сколько зим! Как делишки?

Встречают подругу, вяло обнимают ее, вяло целуют и говорят:

– Катя, я вас люблю безумно, я без вас...

А на вялую просьбу Кати оставить ее в покое отвечают тоном ниже:

– Не верите? Что ж, не надо. Доказать это нельзя.

А то еще сидят в кафе, медленно глотают мороженое и, увидев на палке польскую газету, делают удивленные глаза и уверенно говорят:

– Э! Польская литература, знаете, какая-то... такая. Без содержания.

Ходят важно по улице, ритмически постукивают палкой и на мольбы нищего о подачке отвечают резонно:

– Такой здоровый – работать надо.

Зато люди деятельные скучают иначе...

Ходят по улицам и читают вывески, плакаты, афиши, записки на воротах о том, что сдаются квартиры, и все это язвительно критикуют.

Если же не критикуют, то поют: «Тра-ля-ля... тру-ту-ту... ди-ди-ди...» Причем из языка, губ, зубов и слюны заводят во рту полный оркестр.

Кроме того, для деятельных людей существуют еще: оконные стекла, по которым можно часами барабанить пальцами, перочинные ножики, очень пригодные для вырезания или выцарапывания на подоконниках, столах, скамьях и стенах своих инициалов, а в случае надобности и полного звания с числом и годом в виде приложения; затем – брелоки, которые можно тереть сколько угодно, пуговичные петлички, в которые очень удобно протыкать поочередно пальцы обеих рук, и, наконец, телефон, в который, правда, пальцы протыкать излишне, но которым при умении тоже можно воспользоваться.

Для тех же деятельных людей существуют также и объявления, которые можно читать нараспев; есть библиотечные книги с широкими полями, на которых можно откровенно подис-

путировать с автором; есть еженедельно свежие юмористические журналы, с которыми обращаться можно и совсем запросто – можно полежать с ними на кушетке, закрыв ими лицо, и подремать, или же, свернув в трубочку, потрубить марш из «Аиды», а между тем бить мух, имеющих неосторожность отдыхать поблизости на стене.

Джером Клапка Джером

Брак и его иго

(из сборника «Ангел, автор и другие»)

«Браки заключаются на небесах». – «Да, – добавляет один писатель-циник, – для экспорта». Нет ничего замечательнее в человеческом общежитии, как наше отношение к браку.

Эти мысли пришли мне на ум, когда я, однажды вечером, сидел в плохо освещенном помещении городской школы одного провинциального городка.

Был так называемый «музыкально-вокальный вечер». Мы прослушали обычную увертюру, разыгранную женщиной-врачом и старшей дочерью местного пивовара; прослушали декламацию местного vicария; прослушали соло на скрипке хорошенькой молодой вдовушки, закончившееся одобрительными аплодисментами слушателей, и ждали, что будет еще. После нескольких минут антракта на эстраду поднялся бледнолицый джентльмен, с длинными ниспадающими черными усами, оказавшийся местным тенором. Он пропел жалобную песенку о двух разбитых сердцах. Между любовниками произошли какие-то недоразумения, вызвавшие обмен горькими словами, который надорвал нежные струны чувствительных сердец. Правда, обе стороны тотчас же раскаялись в этих словах, но дело было уже сделано: надорванных струн уже нельзя было снова натянуть. Пришлось расстаться. Он умер с разбитым сердцем, уверенный, что его любовь оставалась без ответа. Но ангелы утешили его на этот счет: он узнал, что она любит его теперь; слово «теперь» подчеркивалось певцом.

Я оглянулся. Слушатели состояли отчасти из местных интеллигентов, а главное – из простых обывателей: портных, солдат, моряков, с родными и двоюродными сестрами; некоторые, впрочем, были с женами. У многих из интеллигенток увлажнились глаза. Мисс Бичер с трудом сдерживала рыдания. Молодой мистер Зинкер, спрятав лицо за программку, притворялся, что у него внезапно сделался жестокий насморк. Могучая грудь миссис аптекарши бурно вздымалась от тяжелых вздохов. Отставной полковник неистово кашлял. Души наши были охвачены печалью.

Мы скорбели, представляя себе, как счастлива была бы жизнь той злополучной пары, о которой пропел нам тенор, если бы не обмен горькими, необдуманно, слишком поспешными словами, и все обошлось бы без погребальной церемонии. Вместо нее была бы совершена брачная. Вся церковь утопала бы в белых цветах. Как обольстительно прекрасна была бы невеста в венке из померанцевых цветов! С какою горделивой радостью счастливый жених ответил бы «да» на вопрос, желает ли он иметь ее женою. Ведь он действительно так искренно желал видеть ее постоянной спутницей своей жизни, – спутницей, которая делила бы с ним горе и радость, удачу и невзгоды, любовь и страдание; которая была бы ему верною, заботливою, нежною подругою до самой его смерти и которой он сам хотел быть таким же спутником. По его мнению, их могла разлучить только смерть, да и то ненадолго: они вскоре встретились бы и там.

В торжественной тишине всем слышались слова брачных формул, вещающих о том, что муж и жена должны жить в неизменной любви и в непрекращающемся согласии. «Твоя жена да будет тебе плодоносной виноградной лозой. Твои дети да будут тебе оливковыми ветвями вокруг твоего ствола. Так да благословится муж. Он должен любить свою жену, оберегать ее и смотреть на нее, как на слабейший сосуд. А жена должна почитать своего мужа и, украша-

ясь смирением, кротостью и спокойствием духа, повиноваться ему, как своему защитнику и господину...»

После этой песни в моих ушах долго звучали нежные рапсодии певцов всех времен и народов о любви и верности до гроба; о безумно влюбленных, мужественно борющихся против разлучницы-судьбы и, в конце концов, побеждающих ее; о простодушных, доверчивых, крепко любящих молодых девушках, по целым годам выжидающих, когда исчезнут все препятствия и стыдливо склоненную головку увенчает золотой венец любви. И эти песни о верной неизменной любви обыкновенно кончались свадьбой и уверением, что свадьбой положено основание продолжительному счастью супружеской четы...

Но вот перед нами, на возвышении, появился высокий, плотный, лысый человек. Все наше собрание восторженно встретило его. Это был местный певец комических песенок. Пианино забренчало что-то разухабистое. Певец, державшийся в высшей степени самоуверенно, подмигнул нам левым глазом и, прищулив правый, широко разинул рот. Песня его вызвала неистовый смех. Каждый куплет песни оканчивался таким припевом:

«Вот что вас ожидает, когда вы женитесь!»

Да, милостивые государи (я цитирую это из самой песни), до свадьбы вам щебечут: «Дорогой, ненаглядный ты мой», а после свадьбы над вами раздается зычный окрик: «Ну, ты, увалень, уж захрапел на весь дом, никому спать не даешь!»

До свадьбы они ходили под ручку, нежно прижавшись друг к дружке, а после свадьбы, спустя этак недельки две-три, муж во всю прыть несется вперед и кричит не поспевающей за ним жене: «Ну, ты, колода, прибавляй шагу, чего отстаешь от меня!» Муж возвращается домой поздно по ночам, а жена встречает его с метлой в руках.

И все в таком же духе.

Но вот певец, наконец, окончил и удалился, провожаемый восторженными рукоплесканиями и криками: «бис!» Я снова оглянулся и увидел искаженные от смеха лица. Мисс Бичер была вынуждена заткнуть рот носовым платком, чтобы заглушить свой визгливый хохот; мистер Зинкер утирал катившиеся от смеха слезы; на этот раз он не стыдился своих слез, потому что они были вызваны веселостью, а не грустью. Могучая грудь миссис аптекарши ходила ходуном, и вся эта маленькая, кругленькая особа колыхалась как студень. Полковник щерился от уха до уха.

После комического певца выступила старшая учительница того училища, в стенах которого мы сидели, и пропела полукомическую песенку, тоже принятую публикою очень приветливо, хотя и не с таким увлечением, какого удостоилась песня комика. Из программы было видно, что этот любимец публики должен был выступить еще со сценкою под заглавием «Теща». От избытка чувств, возбужденных в моем сердце предыдущими выступлениями «артистов», я не досидел до этой сценки.

Вместо этой сценки нарисуем такую. Идет компания молодежи и встречается со старою цыганкой. Цыганка останавливает молодую девушку и говорит ей: «Дай, красавица, тебе погадает старая цыганка».

Девушка хихикает, жметя, отказывается. Спутники настаивают. Цыганка смотрит на розовую ладонь белой ручки и гадает. Красавицу любит черноволосый молодой человек. Намечается веселая свадьба. Красавица жеманно лепечет: «Что за глупости!» Один из ее спутников как раз соответствует описанию цыганки. Этот спутник вручает предсказательнице серебряную монету, пока красавица конфузливо идет вперед, потом бросается догонять свою спутницу, а довольная щедрой подачкой смотрит им вслед и щерит свой беззубый рот.

Неужели старая цыганка только это и знает о будущем молодой красавицы?

Когда-то черные и огненные, а теперь выцветшие и гноящиеся, но все еще зоркие глаза цыганки, так много всего навидавшиеся в продолжение долгой жизни их владелицы, – неужели эти глаза ничего больше не разглядели на розовой ладони красавицы?

Нет, они прочли и всю дальнейшую судьбу этой красавицы, но смолчали об этом, потому что им не выгодно было говорить. Нельзя же старой цыганке добавить: «Красавица плачет, зарывшись головою в подушки. Красавица дурнеет; горе и скорбь портят ее черты. Молодой черноволосый человек быстро ее разлюбит. Он будет говорить ей горькие слова, а, может быть, сделает и еще кое-что похуже. Жизнь красавицы будет разбита черноволосым молодым человеком».

Мой друг Уэллс написал повесть «Остров доктора Моро». Я прочел эту повесть в рукописи, зимним вечером, в уединенной усадьбе среди холмов. В темноте за стенами выл, рвал и свистел ветер. Повесть произвела на меня такое сильное впечатление, от которого я не могу отделаться и до сих пор, хотя прошло уже много времени. Доктор Моро набрал диких обитателей лесов и разных чудовищ из морской бездны, с ужасающей жестокостью придал им вид людей и дал им законы. По наружности они стали людьми, но их врожденные инстинкты остались при них и не поддавались облагораживанию. Вся их жизнь превратилась в сплошную пытку. Законы говорили им, что они, бывшие низшими, теперь высшие существа, поэтому не должны делать того, что делали раньше, но их новорожденные свойства протестовали, не подчинялись этим законам и погубили их самих.

Просвещение накладывает на нас ярмо своих законов, созданных для высших существ, какими мы, быть может, когда-нибудь и сделаемся. Но пока в нас еще сидит первобытный человек, и мы также стараемся не подчиниться этим законам, а потому и гибнем.

Принимая во внимание, что мы не боги, а люди, приходится только удивляться, как все-таки у нас еще держится брак. Мы берем двух существ с различными вкусами и инстинктами; двух существ, созданных по закону себялюбия; двух самостоятельных существ, одаренных противоположными аппетитами, противоположными желаниями и стремлениями; двух существ, еще не научившихся самообладанию и самоотречению, – и связываем их вместе так тесно, что ни одно из них не может даже пошевелинуться без того, чтобы не обеспокоить другого; ни одно без риска своим счастьем не может проявлять ни малейшего отклонения от вкуса другого; ни одно не может не иметь мнения, не разделяемого другим.

Спрашивается: могут ли в подобных условиях мирно ужиться даже два ангела? Сомневаюсь. Для того чтобы сделать брак таким идеальным, каким он рисуется нам в повестях прежних времен, необходимо возвысить человеческую натуру. Полное самоотречение, крайнее терпение, неизменная любезность в обращении – вот что нам нужно для того, чтобы осуществить мечту утопистов о счастливом браке.

Мне не верится, чтобы Дерби и Джейн были такими, какими они воспеты в известной песне. Они могут быть только плодом поэтического воображения. Для того чтобы признать их существование, они должны быть вполне реальными, а не выдуманными.

Но и среди нас есть реальные, облеченные плотью и кровью мужчины и женщины, которых Господь посылает нам в пример, – люди стойкие, мужественные, здравомыслящие. Такой Дерби и такая Джейн вступают в брачный союз и действительно остаются верными друг другу до самого гроба. Конечно, бывают и у них ссоры; бывают и у них такие темные минуты, когда Дерби готов проклинать тот день, в который в первый раз встретился с Джейн, а еще больше тот, когда сделал ей предложение. Мог ли он предвидеть, что ее свежие розовые губки когда-нибудь будут произносить такие жестокие слова, а ее ясные голубые глаза, которые он так любил целовать, разгораться гневом? А Джейн? Могла ли она предвидеть в то время, когда он стоял перед ней на коленях, целовал край ее одежды и клялся ей в вечной любви, что ее ожидает с ним?

Страсть погасла: это такой огонь, который быстро разгорается, но так же быстро и угасает. Самое красивое лицо в мире должно терять над нами свое первоначальное обаяние, когда мы года два-три видим его каждый день. Страсть, это только семя, из которого произрастает тонкий, нежный стебелек любви, такой тонкий, нежный и хрупкий, что его легко сломать, раз-

давить, истоптать среди будничной суеты брачной жизни. Только ценою самого заботливого ухода можно сохранить и выходить этот стебелек, чтобы он окреп и сделался тем прекрасным деревом, под сенью которого супруги лелеют свою старость.

Но у наших Дерби и Джен стойкие сердца и здравый ум. Дерби понимает, что он ожидал слишком многого от самого себя и от жены: ведь они оба – обыкновенные человеческие существа со всеми их достоинствами и недостатками, и считается с этим. Понимает это и Джейн и надеется, что муж простит ей ее минутную вспыльчивость, от которой она, Джейн, постарается отделаться. Он не станет больше обижаться, когда она в возбуждении, вызванном каким-нибудь житейским недочетом, скажет ему горькое слово; Джейн обещает сдерживаться. Супруги со слезами раскаяния горячо обнимают друг друга, и мир восстановлен. Они сознают, что жизнь – задача тяжелая, и постараются облегчить ее друг другу добрым согласием, добрым взглядом и добрым словом.

Рискуя быть названным еретиком, я не могу не высказать, что едва ли наш английский путь любви лучший из всех остальных. Я как-то раз обсуждал этот вопрос с одной умной пожилой француженкой. Англичане составляют себе понятие о французской жизни по французской литературе, но это ведет к заблуждениям. И во Франции есть немало своих Дерби и Джейн.

– Поверьте мне, – говорила моя французская приятельница, – ваш английский путь неверен. И наш не совершенен, но все же лучше вашего. Вы предоставляете все дело на личное усмотрение молодых людей. А что они понимают в жизни? Он влюбляется в хорошенькое личико. Она прельщается тем, что он такой ловкий танцор, так мил и любезен в обращении. Если бы брак заключался только на один медовый месяц или, вообще, на то время, пока пылает страсть, то, пожалуй, вы были бы и правы. Восемнадцати лет я тоже была безумно влюблена и думала – умру от «разбитого» сердца, когда оказалось, что мне нельзя сделаться женой моего избранника; а теперь, встречаясь иногда с ним, сама удивляюсь, как я могла тогда увлечься им? Ах, голубок мой (этой даме за шестьдесят лет, и она всегда называет меня «голубком», хотя мне самому уже тридцать пять лет; но в эти годы так приятно, когда вас называют как ребенка), если бы вы знали, какой это глупый и грубый человек! Он только и отличался стройною фигурой да красивым лицом самого вульгарного пошиба. Последнего я тогда, в свои восемнадцать лет, разумеется, не замечала. Теперь же, глядя на его несчастную, забитую, еле живую от страха перед ним жену, я с содроганием думаю о той участи, которой подверглась бы сама, если бы мои родители не оказались умнее меня. Но в то время я очень обижалась на них и не верила ни одному их слову, когда они обрисовывали моего избранника таким, каким он оказался в действительности. Я смотрела на его лицо и думала про себя, что человек только с таким лицом и может доставить мне истинное счастье. Потом меня чуть не насильно выдали замуж за человека, которого я видеть не могла, но который потом так крепко привязал меня к себе, что я теперь готова идти за него в огонь и в воду. Это случилось тогда, когда я, наконец, разглядела, что мой муж – один из лучших людей в мире. Я не любила его, идя с ним к алтарю, зато люблю его теперь вот уже чуть ли не полвека. Не лучше ли это, чем если бы я вышла за того негодяя и...

– Позвольте, – перебил я, – ведь его жена, наверное, вышла за него тоже по выбору своих родителей, но от этого ей не легче с ним. Между тем мало ли бывает случаев, когда брак, заключенный по обоюдному влечению молодых людей, выходит вполне удачным? Родители точно так же могут ошибаться, как ошибаются дети. По-моему, общего правила для счастливых браков нет и быть не может.

– Вы судите по дурным исключениям, – возразила моя собеседница, – а я стою за основу данной системы. Молодая девушка никогда не может быть верным судьей характера. Она обманывается, потому что не только не знает людей, но не знает и самой себя. Она воображает, что охватившее ее минутное чувство будет продолжаться до бесконечности. На то и старшие с их житейским опытом, чтобы молодые не губили себя ради мимолетной прихоти.

Они обязаны выбирать с большой тщательностью и осмотрительностью, помня, какая огромная ответственность лежит на них.

– А что, если ваши собственные дети не останутся довольны вашим выбором? – спросил я.

– А вы думаете, они были бы довольны своим собственным? – с улыбкою проговорила моя почтенная собеседница.

Потолковав еще несколько времени на эту тему, мы пришли к заключению, что брачный вопрос – один из самых сложных, запутанных и темных.

Но все-таки я думаю, что мы напрасно осмеиваем брачный институт. Брак не может быть в одно и то же время признан и «святым» и «смешным». Пора бы нам уж освоиться с этим учреждением настолько, чтобы уметь верно судить о нем, не вдаваясь в ту или другую крайность.

Дикари первобытные и дикари современные

(из сборника «Ангел, автор и другие»)

Недостаток нашей цивилизации состоит главным образом в том, что мы часто не знаем, чем заняться. В каменном веке было, наверное, не так; смело можно предположить, что тогда люди постоянно были заняты по горло. Несмотря на все свое умственное невежество, они отличались такую кипучею деятельностью, о какой в наше культурное время мы и понятия не имеем. Не успеют они спуститься с вершины кокосового дерева, с которого собирали испанские орехи, как, глядишь, уже швыряются камнями, поссорившись во время дележки плодов. Так как обе стороны обладали такими крепкими головами, которые не могли быть сразу проломлены, то «каменная» аргументация всегда должна была быть очень «сильною» и продолжительною.

Когда политический деятель той отдаленной эпохи хвалился тем, что «победил» своего противника, это означало, что он в прямом смысле ухитрился размоzzжить ему череп; а это было делом не легким. Когда говорилось, что какой-нибудь выдающийся член того первобытного общества «устранил» своего оппонента, то никто из родных и друзей последнего более уже не интересовался им, потому что все знали: он устранен реально, а не иносказательно. Когда приверженцы какого-нибудь мощного обитателя пещер замечали, что он «метет пол своим соперником», это не значило, что он победил своего соперника ораторским искусством, в присутствии двух десятков друзей и репортера, но должно было пониматься так, как оно действительно происходило, то есть что мистер такой-то схватил мистера такого-то за ноги и поволок его по камням вокруг своего обиталища, оставляя мокрые следы...

Быть может, пещерный житель находил нужным переселиться в другое место, когда находил, что количество орехов и плодов вокруг его пещеры начинает убывать. Он убеждал в необходимости переселения и своих соседей; но между ними, наверное, находились и такие, которые восставали против этого проекта, и таким образом возникал спор, возбуждались прения «за» и «против». Разгоревшиеся политические страсти успокаивались лишь тогда, когда одна из спорящих сторон в буквальном смысле «оставалась на месте». «Работы» при этом, разумеется, было немало, и время проходило незаметно.

Теперь не то. Цивилизация внесла в общество элемент, которому нечего делать, и он поневоле предается разного рода забавам и играм. Животные тоже любят забавляться и играть, пока они молоды, а человек готов заниматься этим всю жизнь; он – единственное животное, которое скачет, прыгает и вертится и по достижении своей зрелости. Если бы какой-нибудь почтенный бородатый козел начал подпрыгивать кверху и вообще вести себя так, как вел в то время, когда еще был козленком, то мы подумали бы, что он взбесился. Между тем мы сбегаясь целыми толпами, чтобы полюбоваться, как пожилые дамы и почтенные джентльмены прыгают вслед за шаром или мячиком, рвутся за ним, выпучив глаза, сшибают друг друга с ног, перескакивают друг через друга, кричат, пыhtят, визжат, – и за все эти ребяческие проделки мы вознаграждаем их аплодисментами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.